

Штабдарт

АЛЕКСАНДР ЛЕРНЕТ-ХОЛЕНИЯ

АЛЕКСАНДР
ЛЕРНЕТ-ХОЛЕНИЯ

Штабдарт

symposium

ALEXANDER LERNET-HOLENIA

Die Standarte

Ноябрь 1918 года, идет последняя неделя Первой мировой войны и существования Австро-Венгерской империи. Всего за несколько суток от знаменитого драгунского полка остается горстка офицеров, с риском пробирающихся из Белграда домой, в Австрию. 19-летний прапорщик, помимо собственной жизни, должен спасти штандарт своего полка и девушку, встреченную три дня назад и поразившую его сильнее, чем все войска противника вместе взятые. Но труднее всего, добравшись до родной Вены, оказывается найти себя в послевоенной жизни, в новой стране и в новом мире.

Александр Лернет-Холениа (1897–1976) — выдающийся австрийский писатель и драматург, участник описываемых в романе событий, лауреат премии Генриха Клейста (1926) и Большой государственной премии (1961), президент австрийского ПЕН-клуба. Роман «Штандарт» (1934), как и остальные книги писателя, был запрещен в Третьем Рейхе, но пользовался большим успехом до и после нацистского десятилетия.





www.symposium.su

ALEXANDER LERNET-HOLENIA

Die Standarte

Roman

1934

АЛЕКСАНДР ЛЕРНЕТ-ХОЛЕНИЯ

Штандарт

Роман

Перевод с немецкого
Светланы Балаевой

Санкт-Петербург
SYMPOSIUM
2022

ББК 84.4 Ав
УДК 82-31
Л 49

*Издательство выражает признательность
компании CARTFUL и лично директору
Александру Олеговичу Яничеку
за поддержку издания этой книги*

*Мы также благодарим
Общество Александра Лернета-Холениа
за содействие русскому изданию*

*Отдельное спасибо
Александру Васильевичу Белобратову
за организационную и консультативную помощь*

*Перевод с немецкого
Светланы Балаевой*

*Художественное оформление
Владимира Егорова*

© Alexander Dreihann-Holenia, 2022
© Издательство «Симпозиум», 2022
© С. Балаева, перевод, 2022
© Издательство «Симпозиум»,
оформление, 2022

ISBN 978-5-89091-575-7

Штандарт

«Клянемся перед Всемогушим Господом священной клятвой, что будем верно и преданно служить Его Величеству, нашему Наисветлейшему Князю и Господину, а также повиноваться их превосходительствам генералам, всем командирам и старшим по званию, уважать и защищать их, исполнять их команды и приказы, во всем следовать воле Его Императорского и Кюролевского Величества, оказывать сопротивление любому противнику, кто бы он ни был и где бы ни находился: на воде, на суше, днем и ночью, в сражениях, боях и любых военных действиях, везде, всегда и при любых обстоятельствах смело и мужественно, не покидать своих частей, орудий, знамен и штандартов...»

На торжественном собрании — первом подобном за десять лет, прошедших после Мировой войны, — устроенном для себя офицерами почти всех кавалерийских полков, я оказался за столом рядом с молодым человеком весьма приятной наружности. Фамилию его, когда мне ее назвали, я не запомнил, и только позже, когда я о ней справился, оказалось, что его зовут Менис и он племянник одного из присутствующих здесь генералов.

С другой стороны от меня сидел, насколько я помню, граф Хауншперг, чуть поодаль я видел фон Ширинского, Крейля, барона Репнина и еще нескольких человек, с которыми был немного знаком и которые не особенно меня интересовали. В общем-то, все они оказались за одним столом совершенно случайно. Лейтенанты и прапорщики из разных полков — Лимбургского, Караффского и Ауэршпергского, а также и моего, сидели вперемешку — кто где нашел себе место. Народу собралось гораздо больше, чем изначально предполагалось. В целом, впечатление, которое производило на самих присутствующих первое большое собрание офицеров после окончания войны, было необычным, сильным и несколько мрачным. Во главе всего, за поперечным столом, восседали два

эрцгерцога в гражданских костюмах, фельдмаршал и несколько генералов, которые и создавали остатки этой армии всадников. За продольными столами, также в гражданском, сидели офицеры, и их было гораздо больше, чем оставшихся в живых. Мраморные колонны отражали свет, и при достаточной силе воображения в зале можно было почувствовать это иное, более убедительное присутствие: тех, кто тоже пришел, хотя прийти не мог, — погибшие и пропавшие без вести из другой, прославленной, сверкающей формой и орденами, невидимой армии, которая, появившись лишь призрачно, имела гораздо большее право быть здесь, чем мы сами. Потому что настоящая армия — это не живые, а мертвые.

Голоса наших бывших командиров воскресили в памяти звуки былых боев, затихающие отзвуки команд, стук копыт сгинувших эскадронов; после чего собрание превратилось в сумму отдельных разговоров людей, предоставленных самим себе. Однако довольно скоро слова, которые собравшиеся отважились сказать друг другу, были исчерпаны. В какой-то момент я повернулся к сидящему рядом, тогда еще незнакомому мне молодому человеку, занятому своей сигаретой. Общение наше протекало вполне непринужденно, и у меня сложилось мнение, что я беседую с вежливым, элегантным, но, в сущности, вполне заурядным человеком двадцати восьми или тридцати лет. После того, как мы поднялись из-за стола, мне назвали его имя и сообщили, что он был прапорщиком в драгунском полку Марии-Изабеллы и после войны удачно женился. Упомянули и о том, что он племянник генерала

кавалерии Кренневиля. Я поискал взглядом генерала и успел только увидеть, как этот тщедушный, дряхлый уже господин, опершись на плечо нашего бывшего полковника, покидает зал.

Впоследствии я довольно быстро забыл своего соседа по столу, тем более что в течение двух следующих лет нигде его больше не видел. Но потом случилось так, что мы встретились несколько раз подряд на вечерних приемах. Тогда же я познакомился с его женой, воистину красивой женщиной с изумительно светлым лицом и чудесными серо-синими глазами. Говорила она мало, и, кроме того, мне бросилось в глаза, что оба они за несколько часов пребывания на людях почти не разговаривали друг с другом. Впрочем, их союз называли хорошей партией. Кто-то сказал мне, что у них трое детей — мальчик и две девочки.

Позже я несколько раз встречал Мениса на улице, и мы обменивались парой вежливых фраз. Но нашей последней встрече суждено было стать совершенно необычной, глубоко потрясшей меня.

Это произошло в конце ноября, немногим после полудня, на тихой, малолюдной улице. Я заметил хорошо одетого человека, который, пока я к нему подходил, разговаривал с нищим, вернее, как я увидел, приблизившись, — с инвалидом на костылях, с покалеченной забинтованной ногой и, хотя он был в гражданской одежде, с медалями, сверкавшими у него на груди. Медали покачивались на перепачканных лентах, а лицо инвалида выражало какой-то надрыв, к тому же он весь дрожал, — он был без пальто,

хотя было довольно холодно. Я уже собирался дать ему монету, но не смог, потому что он был погружен в разговор. Мне не хотелось показаться бестактным и проявить неуважение к нищему: я решил было уже пройти мимо, но господин, с которым он разговаривал, обернулся. Я узнал Мениса и остановился, чтобы с ним поздороваться.

Менис, однако, почему-то смутился и не ответил на мое приветствие. Мне показалось, что я как будто застал его врасплох; и его неловкость даже передалась мне, словно и у меня имелась какая-то причина против нашей встречи. Мгновение мы смотрели друг на друга, и наконец, чтобы сказать что-нибудь и выйти из неудобного положения, я спросил его, как дела. При этом еще раз быстро окинул взглядом нищего, а потом вновь своего знакомого. Я уже готов был просто пройти мимо и отправиться дальше по своим делам, но теперь Менис был у меня на пути и не двигался.

— Ах, — наконец выдавил он, — это ты?

При этом он бросил короткий взгляд на нищего, опять посмотрел на меня, повернул голову в другую сторону, куда посмотрел и я. Там, в нескольких шагах от лестницы, была припаркована машина: двери были открыты, рядом стоял шофер и смотрел на нас.

Менис снова повернулся ко мне. И хотя было заметно, что мыслями он где-то далеко, спросил:

— Как поживаешь?

А вслед за тем быстро продолжил:

— Я просто гуляю, то есть я как раз приехал сюда и вышел, чтобы... немного пройтись.

«Вот как? — подумал я. — Значит, это его машина?»

Тут он добавил:

— Я просто хотел дать этому инвалиду... я хотел дать ему немного денег.

Я вновь взглянул на инвалида, а Менис посмотрел на шофера и, махнув рукой, сказал:

— Можете возвращаться домой.

Шофер поклонился, закрыл одну дверцу, сел за руль и закрыл вторую. Затем завел мотор и уехал.

Машина была большая, совсем новая и блестела хромом и черным лаком.

После того как автомобиль скрылся из виду, мы мгновение еще стояли друг против друга, а нищий, опираясь на свои костыли и подавшись вперед, смотрел на нас. При этом он немного раскачивался вперед-назад, и медали его тихо позвякивали. Может, я все же прервал их разговор, подумал я. О чем бы? О чем вообще они могли беседовать? Я хотел уже приподнять шляпу и откланяться, когда Менис взял меня под руку, отвел на несколько шагов от несчастного и заговорил:

— Я просто всегда даю что-нибудь нищим. В особенности таким... таким инвалидам. Куда ты направляешься? Я бы мог подбросить тебя. Жалко, что я отпустил машину. В тот момент я как-то не подумал о том, что... Или лучше пройдемся... полагаю, ты не будешь возражать, если мы немного пройдемся вместе...

— О, конечно, — ответил я, — пожалуйста.

Мне показалось, что он хочет пройти со мной, чтобы сгладить неловкость встречи.

— Я собирался навестить знакомых... но это подождет... Я правда не помешал?

— Нет, совсем нет! — сказал он. — Я как раз подумал, что тебе может показаться странным, что я с этим нищим... я, так сказать, даю людям самую малость.

Говоря все это и крепко держа меня под руку, он быстро зашагал вниз по улице, словно торопился скрыться из поля зрения человека, с которым только что разговаривал.

— Вряд ли стоит говорить о том, — добавил он, — что все они невероятно несчастные люди.

При этом, собираясь завернуть за угол дома, к которому мы как раз подошли, он вновь обернулся, и я обернулся вслед за ним. Нищий, повернувшись вполоборота, смотрел нам вслед. Менис испуганно поспешил свернуть за угол. Только теперь он отпустил мою руку и, сделав жест, будто ему полегчало от того, что инвалид скрылся из виду, торопливо продолжил:

— Только представь, что чувствуют эти люди, когда целыми днями стоят на холоде; и совершенно не важно, чем они занимались до тех пор, как стали нищими! И куда они уползают ночами, чтобы поспать! Что за отбросы они едят! И как им приходится подбирать брошенные окурки, если хочется курить! А одежда: то, что больше не хотят носить, отдают им! Что это вообще значит — быть таким бедным, что больше не жить своей жизнью, а существовать за счет подаяний, и при этом быть незаметным для тех, кому все равно, как они подышают! Целый день подпирать стены домов, тогда как никому нет до них дела; а если кто не в силах стоять, то сидеть на ступеньках в грязи, среди всего этого шума и транспорта, и быть ничем, грязным ничем! А если напомнить им, кем они были: солдатами блистательных

частей — пехотного полка Короля Испании, например, уланского полка такого-то князя или носящего иное, не менее гордое имя, под знаменами эрцгерцогинь, их патронесс! Из-за одной оторванной пуговицы на мундире майоров отправляли в отставку. А этим людям говорили, что они — гордость империи, когда весь мир поднялся против них, пытаясь их победить. И что? Что они теперь? Привидения, досадные помехи на улице, неприглядные зрелища, пугающие прохожих, грязные оборванцы, которым желают поскорее сдохнуть. Меня возмущает, когда бывшие офицеры ничего им не дают, хотя могли бы. Я каждому что-нибудь даю. Для каждого нахожу несколько добрых слов. Я хорошо знаю всех этих людей. Само собой, я и с тем человеком перекинулся парой фраз. Он рассказал, в каком полку служил и где был ранен. Ты же понимаешь, правда?

— Да, да, — отвечал я, — конечно.

Я хотел спросить, отчего ему была так неприятна наша встреча, но удержался. Мы как раз подошли к переходу через довольно оживленную улицу, но переходить пока было нельзя, так что мы остановились в ожидании. Менис замолчал и смотрел прямо вперед. Тут же перед нами возникла нищенка, совсем молодая женщина, при этом вид у нее был не менее жалкий и запущенный, чем у того инвалида, а ребенок на руках был завернут в какие-то сальные тряпки. Удивительно, но, бросив на нее долгий взгляд, Менис не проявил к ней интереса. Я протянул ей монету. В этот момент переход разрешили, и уже на ходу Менис продолжил:

— Конечно, я не всегда заговариваю с нищими. Они ведь разные. Я должен пояснить, что меня задевают

только те, кто стали нищими, потому что только они, по-моему, и достойны сочувствия — по крайней мере больше, чем те, кто с детства привык нищенствовать. Я могу отличить тех, кто сделал из попрошайничества доходное дело. Тут совсем недалеко, возле Оперы, есть парень, который мне особенно неприятен. Я не знаю, там ли он сегодня. Если там, я бы тебе его показал. Из старого ящика из-под сигар и какой-то палки он соорудил себе скрипку, на которой, надо признать, он довольно ловко играет. Но при этом так изгибается и перекашивается, что мороз по коже — при том, что у него все конечности целы. А ведет он себя так, словно какой-то не хватает. Совсем молодой, иначе он не смог бы долго выдерживать такую акробатику. Уверен, что за этот цирк ему подадут немало и чувствует он себя лучше, чем если бы работал где-нибудь... А вот и он.

Действительно, впереди, на обочине людского потока, мы увидели человека, который в неудобнейшей позе — как будто сидя на невидимом стуле — играл на скрипке, лежащей у него на коленях. Скрипка, как оказалось при ближайшем рассмотрении, и вправду состояла только из палки и сигарной коробки. Нищий как раз играл «Палому», весьма виртуозно, хотя на инструменте была всего одна или две струны. «Палома» — очень тоскливая песня. Максимилиан Мексиканский¹ перед расстрелом попросил сыграть ему эту песню. В ней долго и однообразно поется про слу-

¹ Максимилиан I (1832–1867) — эрцгерцог, младший брат австрийского императора Франца Иосифа I. В 1864–1867 гг. — император Мексики; был свергнут и расстрелян республиканцами. (Здесь и далее прим. переводчика.)

жанку, которая утопилась из-за несчастной любви. Это действительно очень грустно. Но все это вовсе не трогало Мениса.

— Видит Бог, есть музыканты и победнее, чем этот, но у них хотя бы настоящие скрипки. Этот короб из-под сигар меня просто бесит. А посмотри, как он положил шапку для милостыни — нахально, прямо проходим под ноги!

Я не мог понять, симулирует этот человек или нет. В любом случае вид у него был жалкий.

— Это часть его профессии, — произнес Менис, — выглядеть жалким. Он почти ничего не ест, хотя зарабатывает достаточно. Симулянтов среди них несравнимо больше, чем настоящих нищих. А другие, у кого есть настоящие увечья, конечно, их используют. Там, дальше, есть еще один, который на коленях ползает по земле, словно вообще не может ходить. А когда набирает достаточно милостыни, то попросту встает и идет домой. Я несколько раз видел, как он, прямой как палка, уходил со своего места. Так что с ногами у него все в порядке. У него только ранение в голову. Я тебе его покажу.

Да, подумал я, всего-то ранение в голову!

— Среди других нищих он делает несчастный вид, а когда уходит домой, его лицо непроницаемо и надменно, как у актера после представления.

Менис свернул в боковую улочку, и буквально сразу же мы прошли мимо этого человека, который, жалким комком, скорее лежал, чем сидел на мостовой. На голове у него виднелась округлая блестящая, видимо никелированная, защитная пластина, уходя-

щая под кожу, а на правой руке была шина из такого же материала. Даже если он изображал, что не может стоять или ходить, тот факт, что ему, вероятно, осколком снаряда снесло часть крышки черепа, наводил на меня ужас. Мне показалось, что сквозь шум машин я различаю свирепый, истошный вой артиллерийского снаряда, который сделал это с ним.

— Свои ранения так не афишируют, — сказал Менис, пока мы проходили мимо. — Пугать людей таким видом, чтобы выпросить подавание? Тот, кто был солдатом, так не поступит. Никто не встает к позорному столбу добровольно. Мужчина обвязал бы голову платком или надел шляпу. Такое выпячивание отвратительно. Есть еще и такие, которые неожиданно выныривают перед тобой на улице и не отстают, пока им чего-нибудь не перепадет. Или те, кто поет в трамваях, да так фальшиво, что сразу ясно, что они нарочно так делают. И вокруг все больше нищих, которые сделали свое нищенство профессией. Они только дискредитируют настоящих нищих. Настоящие, несчастные нищие — это только те, кто раньше нищими не были, а были, чаще всего, солдатами. В наше время нет более трагических фигур, чем побирающиеся солдаты. Каждый солдат, когда он перестает им быть, в определенном смысле становится нищим — беден он или богат.

Признаюсь, меня уже порядком утомила эта инспекция нищих, которыми Менис был недоволен. Я машинально давал им что-нибудь, не ломая голову над тем, попрошайничают они искренне или нет. Менис же сделал систему из того, кому он подает. Я подумал, что, вот же, состоятельному человеку нечем

заняться и он критически подходит к нищим, как какой-нибудь коллекционер к своему собранию. Такое вот у него увлечение. И это вовсе не доброта, это расчет, кто из них самый несчастный. Лучше бы занялся каким-нибудь другим коллекционированием, которое было бы не так безвкусно.

Прежде он казался мне приятным человеком, но тут я был немного ошарашен. Я остановился и сказал что-то в том смысле, что мне пора, но заметил, что он меня совсем не слушает. Мы как раз подошли к Хофбургу. Когда остановился я, замер и Менис, но совсем по иной причине. Он вдруг устался на еще одного нищего, стоявшего у въезда во дворец. Вид у этого человека был опрятный: он был в чисто выстиранной военной форме. Глаза его закрывала черная повязка. Рядом с ним стояла маленькая худенькая девочка лет восьми. Ребенок держал его за руку. Человек был слепым.

Я мельком взглянул на нищего, потом еще раз сказал Менису, что должен откланяться. У меня не было никакого желания слушать, как тот будет критиковать и этого слепого. Он, впрочем, снова не обратил на мои слова никакого внимания.

— Одну минутку, — произнес он наконец, не сводя пристального взгляда со слепого, — одну минутку! Я должен подойти к этому человеку. Он, возможно, даже из моего полка.

Я снова взглянул на нищего, а Менис сделал несколько шагов к нему.

— Я его не знаю, — сказал он, — обычно я узнаю всех.

Он уже стоял перед нищим.

В самом деле, на слепом была форма драгуна. На левом плече я увидел желтый аксельбант кавалериста. Высокие сапоги со шпорами, а на голове, как и полагалось, — фуражка без козырька. Под ней, на глазах — повязка. На черном вороте блестели две вышитые звезды, указывающие на его унтер-офицерское звание.

— Какой полк? — спросил Менис.

Существовало два черных драгунских полка, форма которых отличалась лишь цветом пуговиц. Серая пуговица на аксельбанте унтер-офицера ничего не говорила.

Слепой не сразу понял, что некто, стоящий перед ним, спрашивает его, из какого он полка. Менису пришлось повторить свой вопрос.

— Драгунский полк Марии-Изабеллы, — ответил вопрошаемый.

Ребенок, которого он держал за руку, испугался командного тона Мениса и смотрел на нас округлившимися глазами.

Как только нищий назвал свой полк, я произнес:

— В самом деле... — и хотел, обращаясь к Менису, добавить: «Твой полк».

Но он меня перебил.

— Как вас зовут? — спросил он унтер-офицера.

— Йоханн Лотт, — ответил тот.

Я смотрел на Мениса, но по нему нельзя было понять, знает он этого человека или нет.

— И вы ослепли? — спросил он.

— Да.

— На войне?

— Да.

— Полностью?

— Да. Полностью.

— Как же это тогда возможно, — секунду спустя продолжал Менис, — что вам приходится просить милостыню? Ведь в вашем случае выплачивается пенсия, на которую можно прожить.

Унтер-офицер секунду помедлил, а затем спросил:

— А кто вы такой вообще?

— Не беспокойтесь об этом, — отозвался Менис. — У меня не было намерения допрашивать вас. Я спросил из участия.

— Или вы не верите, что я действительно слепой?

— Напротив, — ответил Менис.

Но рука человека уже метнулась вверх и на мгновение приподняла повязку. У него совсем не было глаз.

— Не надо, — воскликнул Менис, — я же сказал, что верю вам!

Он заметно побледнел.

— Почему, — нервно выкрикнул он, — черт побери, вы тогда здесь стоите и просите подавание?

Унтер-офицер поправил свою повязку, а затем ответил:

— Я прошу не для себя. Но мои родственники так бедны, что я, с той пенсией, которую получаю, действительно самый состоятельный из них. Я им отдаю и часть своих денег, сколько могу. Но моя сестра, мать этой девочки, больна. Малышка вывела меня на улицу, чтобы я смог принести домой хоть сколько-нибудь. Все же слепому подают более охотно. Я и форму

свою надел, сейчас же снова разрешено носить форму. Я подумал, если буду стоять здесь, то люди заметят, что у меня достаточно причин просить милостыню, и что-нибудь нам дадут.

Меня уже мутило от этой сцены. То, что Менис в своей манере выпрашивал все у нищих, мучил их, было мне отвратительно. По крайней мере, я с облегчением отметил, что ему и самому уже достаточно. Он сильно побледнел. Я никак не мог понять, почему же он ничего не дает этому человеку, и к тому же видел, как он подходит все ближе к нему и при этом продолжает пристально его разглядывать. Ребенок совсем испугался, ведь Менис разве что не орал на слепого.

— Был ли тогда, — в конце концов спросил я, злясь на его поведение, — в вашем полку прапорщик по фамилии Менис?

Одновременно я ощутил, как мой спутник крепко схватил меня за руку, словно хотел помешать мне говорить. Но унтер-офицер уже давал ответ:

— Менис? Да. У нас был прапорщик Менис, но всего несколько дней.

— Почему так? — спросил я.

— Он прибыл из другого полка и был с нами недолго, то есть до тех пор, когда меня ранило. Но и без того все уже было кончено.

— Но вы же еще видели его? — спросил я.

— Да, — сказал он.

Я как раз собирался добавить: «Вот же он, стоит перед вами», когда слепой продолжил:

— Я его видел. Он был последним, что я вообще видел.

Действие, которое оказали на Мениса эти слова, было ошеломляющим. Без сомнения, теперь он узнал слепого. Лицо его стало белым как снег, он смотрел на Лотта как на приведение; и даже я, совершенно сбитый с толку, запинаясь, спросил:

— Что вы имеете в виду?

— Это случилось под Белградом, на мосту через Дунай, — произнес слепой. — Полки должны были его перейти, но остановились посредине и начали стрелять друг в друга. Прапорщик граф Хайстер, который нес штандарт, был убит, а я штандарт поднял. Под беспорядочным огнем, между людьми и лошадьми, которые сталкивались и катались по мосту, ко мне подъехал полковник и приказал, чтобы я передал штандарт прапорщику Менису. Так что я передал ему штандарт. Он едва успел схватить его, как сбоку мне в лицо прилетела пуля из карабина, и я упал с лошади. Последнее, что я видел, были тот прапорщик и штандарт.

Неожиданно Менис расстегнул пальто и из карманов пиджака вытащил деньги — видимо, все, что у него были: там были и крупные купюры — и сунул их в руки слепому, а затем потянул меня за собой прочь. Он вцепился в мое плечо и скорее бежал, чем шел, вниз по подъездной дорожке и после на боковую улицу. Губы его тряслись.

— Мне нужно поговорить с тобой, — выдавил он. — Я хочу тебе все объяснить. У тебя есть сигареты?

Я протянул ему сигарету. Он, однако, еще с минутой шел дальше, просто держа ее в руке. В конце концов, я решился его остановить и дал ему прикурить. Мелкие капли пота выступили у него на лице.

— Нам лучше зайти куда-нибудь, — сбивчиво предложил он, — где сможем поговорить.

Он огляделся, мы стояли перед дверью небольшой кофейни. Менис открыл дверь, но, увидев, что там полно посетителей, тут же захлопнул ее и заторопился дальше. Через несколько домов он заглянул в другую кофейню, но опять тотчас развернулся и устремился прочь и отсюда. Наконец, я действительно стал просить его так не волноваться.

— Ты просто не можешь ничего понять, пока я тебе не объясню!

Мне все-таки удалось заставить его идти спокойнее. Несколько раз он вытирал лоб рукавом и, казалось, с трудом держал себя в руках. Пару минут спустя мы подошли к Нойер-маркт и вошли в «Амбассадор». Холл отеля был пуст. Менис торопливо прошел мимо стойки, направился к столику с парой кресел, бросил на него шляпу и подозвал официанта.

— Давай сядем, — произнес он. — Мне необходимо что-нибудь выпить. Не был бы ты так добр, чтобы заплатить за нас. У меня, я думаю, — он порылся в карманах, — совсем не осталось денег.

Он встал, сбросил пальто и оперся обеими руками на спинки кресел. Он все еще был бледен. Появился официант. Менис заказал две рюмки коньяка. Я снова протянул ему сигареты.

— Пойми меня правильно, — сказал он, переводя одну спичку за другой, — дело вовсе не в том, что меня интересуют нищие. Как таковые они меня вообще не интересуют. Я обращаю внимание только на тех, кто стали ими из-за войны. Я просто не могу отделаться

от этого. Я не верю, что эта война закончилась. Она все еще продолжается. Она продолжается в тех, кто был там, а теперь стоит на улице и просит милостыню. Она и во мне продолжается. Я долго этого не осознал. Только тогда, когда с войной было покончено, я начал ее понимать.

Вернулся официант и принес коньяк. Менис опрокинул одну рюмку и тут же заказал еще одну. Я пододвинул ему свою. Он выпил ее и наконец немного успокоился.

— Когда война закончилась, я женился, — произнес он. — Мой брак принято считать счастливым, у нас дети, я ее люблю, я все еще люблю свою жену, хотя иногда у меня возникает чувство, что я никогда ее не любил. Возможно, я женился на ней просто потому, что она была там, когда там уже не было ничего, ничего из того, что меня не отпускает, хотя больше не существует. Ничего из того, что еще только будет, хотя уже давно позади. Ничего из того, что более реально, чем все, что реально теперь. Ты должен это понять! Послушай меня!

Холл был по-прежнему пуст, лишь иногда кто-нибудь проходил мимо, работник отеля или гость, но это нам никак не мешало. Лампа с темным абажуром освещала шелковое кресло, стеклянную поверхность стола, латунную оковку камина. Дым от наших сигарет растекался в сумраке помещения. С улицы едва долетал приглушенный гул. Можно сказать, что вокруг было тихо. И Менис рассказал мне свою историю.

2

Меня зовут Герберт Менис, начал он. Моим отцом был Генрих Кренневиль, морской лейтенант. Моя мать — Мария Менис. После некоторых препирательств, которые были у отца с Адмиралтейством, ему все-таки позволили взять фамилию моей матери, он отказался от фамилии Кренневиль и стал носить только одну фамилию Менис. Моим дедом по отцу был Людвиг Кренневиль, ротмистр Лотарингского кирасирского полка. Его младший брат, Фердинанд Кренневиль, впоследствии стал генералом кавалерии. Он умер в прошлом году.

Уволившись с военной службы, отец прожил недолго. Он постоянно искал ссоры с начальством из штаба Адмиралтейства, виновным, по его мнению, в его вынужденной отставке. На дуэли он тяжело ранил Лукези Палли, лейтенанта с линейного корабля. За это он два года просидел под стражей в крепости, а выйдя на свободу, поссорился с капитаном корвета Фидлером, и тот застрелил отца в школе верховой езды венгерской гвардии.

После его смерти мать много ездила по Европе. Во Флоренции она встретила человека по фамилии Шаттлворт, который, несмотря на английскую фамилию, был русским и оказался племянником Генри Федо-

ровича Шаттлворта, управляющего вдовы князя Петра Ольденбургского. Моя мать вышла за него замуж и переехала с ним в Россию. В последний раз я видел ее, когда мне было четырнадцать, в Санкт-Петербурге, незадолго до войны. Когда началась война, ее письма доходили до нас только через Швейцарию. А потом и вовсе приходять перестали. Много позже мне стало известно, что Шаттлворт был убит Советами, а моя мать скончалась при попытке бежать на Украину.

Моим воспитанием занимался двоюродный дедушка, Фердинанд Кренневиль. Несмотря на свою блестящую военную карьеру, он не испытывал особого энтузиазма по поводу службы в армии. Он определил мне гражданскую профессию. Но жизнь распорядилась иначе. Ему пришлось передумать, поэтому через год после начала войны я, шестнадцати лет от роду, поступил в кавалерийский полк Обеих Сицилий.

Еще через год, при отступлении из Луцка, я был тяжело ранен, так, что не мог вернуться в строй почти до конца войны. Меня ранили в живот, и несколько дней я провел в багажном вагоне, пока мы не добрались, наконец, до врачей. Впрочем, лекарств у них не было и ничего сделать для меня они не могли. Один врач вскрыл рану, которая начала уже гноиться, и это спасло мне жизнь. Разрез заживал долго, мне приходилось носить корсет. Позже сделали еще одну операцию, но даже после нее полностью я не восстановился. Я вернулся в армию, но не в боевой полк. Меня прикомандировали к штабу Балканской армии в Белграде в качестве адъютанта и, хотя я только что получил чин

прапорщика, выделили мне трех лошадей и двух ординарцев.

Помню, был уже конец октября 1918 года. Когда я явился к начальству, стало понятно, что все видят во мне подопечного моего двоюродного деда и только. Они не верили, что меня перевели в штаб из-за ранения, которому уже два года.

В первые сутки в обществе штабных офицеров я провел примерно полдня и вечер. Вот как это было: вечером того первого и последнего дня я в компании нескольких офицеров отправился в оперу. Тогда многим выдающимся певцам было приказано выступить в Белграде. Однако по дороге в театр речь шла не столько об их голосах, сколько, конечно же, о ситуации на фронте. В результате поражения болгар в течение нескольких недель между армиями фельдмаршала фон Макензена и австрийцами зияла брешь, в которую вклинились французские войска генерала Франше д'Эспере; наши балканские армии, фланги которых теперь остались без поддержки, ощущали растущее давление. Поговаривали, что на передовой у Макензена на каждые семьдесят шагов приходился всего один человек, а французская кавалерия всячески подталкивала наши части к отступлению.

Тем не менее командование эту возможность не рассматривало. Солдаты уверенно держали занятые позиции; и, как сообщалось, большое количество наших войск на Украине получило приказ собраться в Венгрии, пересечь Дунай и укрепить наш фронт.

Во всяком случае, вид зрительного зала в опере ни в малейшей степени не свидетельствовал о том, что

в Белграде есть повод чувствовать себя в опасности. Партер был забит офицерами, их дамами, волонтерами Мальтийского ордена, медсестрами и машинистками из штаба. В ложах сидели генералы; некоторые дамы были в вечерних платьях и украшениях.

Давали «Женитьбу Фигаро».

Перед самой увертюрой в зале возникло движение, все поднялись со своих мест. В королевской ложе, где когда-то сидели правители Сербии, появилась дама, которая привлекла внимание всего партера. Ее сопровождали две совсем молодые девушки и несколько офицеров.

Дама была высокого роста, подчеркнуто консервативно одета и причесана. Она подошла к балюстраде ложи и всех поблагодарила. Один из сопровождавших ее офицеров снял с ее плеч мантию, второй придвинул ей кресло, и она села, после чего все снова заняли свои места.

Слева и справа от нее, немного сзади, сели девушки. Офицеры остались стоять позади них. Мне сказали, что это эрцгерцогиня Мария Антония, навещавшая раненых в госпиталях Белграда.

Девушка справа была темноволоса, стройна, у нее было небезынтересное лицо с немного калмыцкими чертами. Баронесса Мордакс. Дама слева от эрцгерцогини была очаровательна. В бледно-розовом платье, в жемчужном ожерелье и длинных белых перчатках. Ее плечи и руки были прекрасны. Когда в зале померк свет и началась увертюра, я спросил о ней — оказалось, что ее зовут Реза Ланг.

Пока сидевший рядом со мной лейтенант, господин фон Багратион, называл мне имена офицеров, стоявших в ложе, я не отводил взгляда от этой обворожительной девушки. Ей было не больше восемнадцати. В полумраке ее лицо сияло, как алебастр. Когда занавес поднялся, луч света упал на нее и осветил глаза, волосы, жемчуг. Она поднесла к глазам бинокль, и его тень полумаской упала на лицо — только губы и подбородок остались освещены. Она что-то сказала, и на мгновение я увидел снежный блеск ее зубов.

Багратион сообщил, что она дочь промышленника, приехала сюда несколько дней назад, чтобы работать медсестрой. Тогда же ее заметила эрцгерцогиня и взяла под свое крыло. Багратион предположил, что она по вечерам читает эрцгерцогине. И добавил, что это одна из самых красивых девушек здесь. Я тихо заметил ему, что последнее замечание слишком очевидно, чтобы он мог гордиться своей наблюдательностью. Забрав у Багратиона бинокль, я смотрел только на эту ложу.

За спектаклем я вообще не следил. Неожиданно обнаружилось, что музыка отлично подходит для наблюдения за столь восхитительным объектом в ложе. После первого акта, как только закрылся занавес, я вложил бинокль в руку Багратиона, встал и вышел из зала.

Я вышел в вестибюль и взбежал по лестнице на первый ярус. Публика не покидала своих мест, а в коридорах я встретил только гардеробщиков и смотрителей, закрывающих ложи. Я поспешил вдоль дверей, пока не подошел к нужной. Она находилась в стене,

отделявшей весь комплекс королевской ложи от остальной части вестибюля. Я был готов к тому, что дверь окажется заперта. Но, когда я осторожно нажал на ручку, она легко подалась и открылась.

Я заглянул в своего рода прихожую с бледно-зелеными стенами, помпезно украшенными золотом и слоновой костью. На вешалках висели офицерские шинели и меха дам. Тускло светили лампы. На бархатной банкетке сидел лакей. Больше там никого не было, но эта прихожая, как оказалось, отделена от самой ложи лишь портьерой, потому что из-за нее доносился шум зала.

Пока лакей изумленно смотрел на меня, я тихо и быстро подошел к портьере и отодвинул ее.

В ложе, как и в зале, никто не покинул своих мест. Я увидел спины офицеров и трех женщин, сидящих у края ложи. Эрцгерцогиня беседовала с девушками.

Все еще незамеченный, я задернул портьеру.

Обернувшись, я увидел, что лакей уже стоит передо мной, явно желая помешать мне либо спросить, что я здесь делаю. Он определенно собирался мне что-то сказать. «Молчать», — тихо приказал я ему. С этими словами я быстро прошел через прихожую, открыл дверь и вернулся в вестибюль. В тот же момент, как я снова занял свое место в партере, начался второй акт.

— Где ты был? — спросил Багратион.

Я что-то пробормотал и снова забрал у него бинокль.

Я не обращал ни малейшего внимания на интриги графа Альмавивы на сцене, а вместо этого почти неприлично наблюдал за Резой в бинокль Багратиона.

Должно быть, мое поведение показалось ему странным, потому что он косо поглядывал на меня.

Реза оказалась не особенной поклонницей музыки: я заметил, что она два или три раза зевнула, прикрыв рот рукой.

Почему-то я этому обрадовался. Сам я вряд ли мог стать предметом ее интереса, ведь она меня еще даже не видела. Меня радовал хотя бы тот факт, что опера ее не интересует.

Когда после второго акта занавес опустился, я вернул бинокль Багратиону и встал. Теперь свои места покинули многие — это был большой антракт. Я опередил всех у выхода, снова взбежал по лестнице к ложам, которые теперь одна за другой открывались, и остановился перед заветной дверью.

Выждав около минуты, я нажал ручку. На этот раз ситуация в прихожей, как я и ожидал, была иной.

Непосредственно передо мной лакей на маленьком столике накрывал угощение, рядом уже стояли Реза и трое офицеров. Светильники теперь горели ярче. Портьера, отделяющая ложу, была наполовину отдернута, эрцгерцогиня и баронесса Мордакс тоже поднялись и разговаривали с двумя другими офицерами.

Мое присутствие заметили не сразу.

Тем временем Реза подошла к столу с закусками и спросила троих мужчин рядом с нею, может ли она что-нибудь им предложить. Очевидно, ей было поручено сделать это из любезности.

Из трех офицеров в передней двое были австрийцами: один офицер генерального штаба, на груди дру-

гого я разглядел адъютантский аксельбант. Третий был немецкий гусар-ротмистр. Он церемонно стоял, левой рукой в перчатке опираясь на свою большую саблю. Правой он прижимал к бедру меховой кольбак¹, ловко удерживая пальцами перчатку и слегка покачивая ею из стороны в сторону. Он был строен и необычайно высок. На нем был серый мундир, перехваченный блестящим ремнем с серебряной пряжкой.

Я быстро подошел к адъютанту, поклонился и сказал, что я прапорщик драгунского полка Обеих Сицилий. Затем поклонился двум другим и попросил адъютанта познакомить меня с молодой леди.

Адъютант, застигнутый врасплох, не успел удивиться. Ему не показалось странным, что я внезапно оказался в их обществе. Он повернулся к Резе и сказал:

— Пожалуйста, позвольте мне, фройляйн, представить вам прапорщика... — тут он пробормотал что-то невнятное, поскольку не расслышал мое имя, — из драгунского полка Обеих Сицилий...

В этот момент офицер генерального штаба положил руку ему на плечо. Адъютант замолчал, а Реза наконец подняла на меня глаза.

Штабист сделал пару шагов и встал передо мной.

— Что вам угодно?

— Я просил познакомить меня с дамой.

— А кто вы?

— Я уже имел честь сообщить об этом.

— Как вы сюда попали?

Я кивнул на дверь.

¹ Военный меховой головной убор, в частности у гусар.

— И по какой же причине, — продолжал он, — вы хотите, чтобы вас представили даме, если вас еще не представили Ее Императорскому Высочеству?

Только штабные и те, кто привык вращаться в высших кругах, могут так быстро разобраться в ситуации, как это сделал он. Похоже, он все понял. А мне ситуация перестала нравиться. Я ругал себя за то, что не дождался лучшей возможности встретиться с Резой. Возникла пауза. Реза смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Серо-голубыми. Она была стройной, выше среднего роста и, безусловно, одной из самых красивых девушек, каких я когда-либо встречал. Багратион был прав. Он была прекрасна.

— Итак, — спросил штабной, — вы уже были представлены Ее Императорскому Высочеству или нет?

Похоже, он сомневался в том, что я не должен здесь находиться. Очень уж просто могло оказаться, что прапорщик, прибывший в ложу эрцгерцогини, — принц или кто-нибудь в этом роде. И штабист не хотел попасть впросак из-за этого. На мгновение я даже подумал, не стоит ли упомянуть о двоюродном дедушке. Короче говоря, я решил воспользоваться его замешательством.

— Нет, я еще не был представлен Ее Императорскому Высочеству, но смею просить господина подполковника сделать это.

Предполагалось, что эрцгерцогиня даже не спросит, почему меня ей представляют. Ведь если ей кого-то представляли, на то явно была причина, о которой не стоило спрашивать. Но подполковник думал иначе. Потому что он об этой причине спросил.

— Почему вы хотите, чтобы вас представили?

Я был обязан ответить на этот вопрос. Теперь следовало ожидать, что он сделает мне выговор. Но, чтобы изменить положение дел, я сказал:

— Я представился господину подполковнику и теперь ожидаю, что господин подполковник представится мне.

К сожалению, попытка провалилась. Мои слова произвели совсем не то впечатление, на которое я рассчитывал. Я сразу заметил по лицу подполковника, что он принял мои слова за дерзость. Он махнул адъютанту:

— Задержите, пожалуйста, занавеску.

Пока адъютант задерживал портьеру, подполковник приблизился ко мне и сказал, понизив голос, почти шепотом:

— Что вы о себе возомнили? Вы, должно быть, сошли с ума, придя сюда, чтобы познакомиться с девушкой. С каким заведением вы путаете ложу Ее Императорского Высочества? Завтра же явитесь в штаб армии. А теперь убирайтесь отсюда!

Я смотрел на остальных присутствующих и колебался с ответом. Реза покраснела, в ее глазах промелькнуло возмущение, но, встретившись глазами со мной, она тут же опустила взгляд. Адъютант был в замешательстве. При этом мне показалось, что на губах гусара промелькнула улыбка. Во всяком случае, он смотрел на меня доброжелательно. Казалось, ситуация его скорее забавляет, чем беспокоит.

Я немного повысил голос:

— Господин подполковник не может ни в чем обвинять меня. Я попросил, чтобы меня представили

даме. Без сомнения, я имею на это право. Но если господин подполковник считает, что это не подходящее место, то я прошу объяснить почему.

— Не нужно так кричать! — прошипел подполковник.

— Потому что мы здесь, — продолжал я, не понижая голоса, — не на службе.

— Я — на службе!

— А я нет. И, по крайней мере, я могу просить каждого офицера обращаться ко мне подобающим образом.

— Прапорщик еще не офицер!

— Обращение должно быть подобающим и вне службы. Само собой, все офицеры придерживаются этого правила.

Подполковник собрался было ответить, но в этот момент портьеру отдернули, и появилась эрцгерцогиня в сопровождении баронессы Мордакс. Двое других офицеров, с которыми она говорила, тоже подошли ближе и смотрели на нас удивленно.

— Что здесь происходит? — спросила эрцгерцогиня.

Повисла тишина.

— Ну, — вновь спросила она. — Кто этот молодой господин?

В этот момент немецкий гусар поступил поистине славно. Он взял меня за руку, подвел к эрцгерцогине и сказал:

— Ваше Высочество, позвольте мне представить прапорщика драгунского полка Обеих Сицилий, юнкера...

Тут он обратился ко мне:

— Я не вполне расслышал ваше имя.

Я прошептал ему свое имя на ухо.

— ...прапорщика Мениса, — закончил он.

Эрцгерцогиня протянула руку для поцелуя. Для подполковника это было уже слишком. Он пережил тот факт, что гусар представил меня эрцгерцогине, но этот поцелуй пережить не смог. Он решил вмешаться.

— Граф Боттенлаубен, — обратился он к гусару, — как вы можете представлять этого прапорщика? Вы же понимаете, что он не имел права сюда врывать?

— Почему? — спросила эрцгерцогиня. — Кто сюда ворвался?

— Прапорщик, Ваше Императорское Высочество!

— Прапорщик?

— Да.

— Что вы имеете в виду?

— Он просто вошел и хотел познакомиться с фройляйн Ланг.

Брови эрцгерцогини приподнялись, она посмотрела на меня, затем на Резу. Реза покраснела еще сильнее. Боттенлаубен посмотрел на подполковника и покачал головой. Я тоже был возмущен.

— Как вы можете, господин подполковник, — воскликнул я, — ставить даму в такое положение!

— Я? — оскорбленно спросил он. — Это вы поставили ее в такое положение!

Конечно, правда была на его стороне, но слова подполковника не возымели действия. Все присутствующие внезапно переключили свое внимание с меня и Резы на него. Теперь он оказался в более щекотливом

положении, чем ранее я. Но он овладел собой и провел ладонью по лбу.

Эрцгерцогиня взглянула на меня.

— Что все это значит? — спросила она. — Вы действительно пришли сюда, чтобы встретиться с фройляйн Ланг? Успокойтесь, дорогая, — обратилась она к Резе. — Само собой разумеется, что такая юная леди, как вы, должна иметь успех. Одна из главных причин, по которой я сразу привлекла вас к себе, заключалась в том, чтобы вы не чувствовали себя слишком неудобно из-за поведения некоторых наших офицеров. Вполне можно было ожидать, что все внимание будет отдано вам. Тем не менее, — тут она повернулась ко мне, — интерес господина прапорщика зашел слишком далеко. Что привело к опрометчивости. Вы расквартированы здесь, в городе, прапорщик Менис?

— Да, Ваше Высочество, — сказал я.

— При командовании?

— Да, Ваше Императорское Высочество.

— При каком?

— При штабе армии.

— И в каком качестве?

— В качестве адъютанта.

— Но у вас еще не было возможности представить-ся фройляйн?

— Не было, Ваше Императорское Высочество.

— Почему нет? Как давно вы вообще в Белграде?

— С сегодняшнего дня.

— Только сегодня?

— Да, Ваше Императорское Высочество.

Мне показалось, что она сдерживает улыбку.

— Кому, — спросила она, — подчиняются адъютанты?

— Майору Орбелиани, Ваше Императорское Высочество.

— Господин капитан, — сказала она адъютанту, — попросите майора Орбелиани прийти сюда. Если его нет, то пусть за ним пошлют.

Капитан тут же бросился к двери, ведущей в вестибюль, и гаркнул:

— Майор Орбелиани!

— Пожалуйста, не так громко, капитан, — произнесла эрцгерцогиня, — не стоит так утруждаться!

Но было уже поздно: адъютант бросился в толпу и продолжал звать майора. Ему стали помогать другие голоса.

— Пожалуйста, закройте дверь, — сказала эрцгерцогиня.

Дверь закрыли, и наступила тишина. Эрцгерцогиня смотрела прямо перед собой, затем снова перевела внимательный взгляд на меня и, наконец, сказала:

— Почему вы стали адъютантом, будучи прапорщиком? Насколько мне известно, это довольно необычно.

— Ваше Императорское Высочество, — ответил я, — я был ранен, и меня, вероятно, более не пожелали подвергать суровым условиям полевой службы.

— Вот оно что, — сказала она, казалось, задумавшись.

Я пытался отгадать, о чем она думает.

— Ваше Императорское Высочество, — сказал я, — я совершенно не хотел, чтобы меня приписали к штабу. Мне больше по душе быть на фронте. Я полагаю,

что это из-за моего родственника, для которого может быть очень важно мое здоровье. Он — генерал кавалерии.

Последние слова предназначались более для подполковника. Я не смотрел на него, но мог предположить, что он внезапно почувствовал себя плохо.

— А как зовут вашего родственника? — спросила эрцгерцогиня.

— Кренневиль, Ваше Императорское Высочество, — ответил я.

Было непонятно, говорит ли ей о чем-то это имя. Через мгновение она сказала:

— Прапорщик Менис, вы, несомненно, желаете извиниться перед фройляйн Ланг за доставленные ей неудобства. Однако вас все еще друг другу не представили. Но граф Боттенлаубен, теперь, когда он познакомил вас со мной, определенно окажет нам любезность и познакомит вас с фройляйн.

Боттенлаубен поклонился, затем взял меня за руку, улыбаясь, подвел к Резе и сказал:

— Сударыня, это прапорщик Менис. На данный момент вы, похоже, знаете его даже лучше, по крайней мере, о его отношении к вам, чем если бы он неделями пытался привлечь ваше внимание.

Реза подняла взгляд, и я заглянул ей в глаза, боясь обнаружить в них следы слез. Затем она медленно протянула мне руку — неуверенно и очаровательно. Глаза ее расширились. Я сказал:

— Я бы не простил себе, если бы мое поведение было бы чем-то иным, как не доказательством, — тут я понизил голос, — вашей красоты.

Она посмотрела на меня еще мгновение, покраснела, затем снова опустила взгляд.

— Прапорщик, — пробормотал Боттенлаубен, слышавший мои последние слова, — вам лучше поухаживать за дамой в другой раз. У вас будет такой шанс.

С этими словами он развернул меня к баронессе Мордакс и представил меня ей. Та посмотрела на меня веселыми глазами и собиралась что-то сказать, но тут дверь распахнулась и, в сопровождении адъютанта, вошел майор Орбелиани.

Далее эрцгерцогиня посоветовала ему проследить за тем, чтобы меня перевели на службу в другое место, по крайней мере, не в Белграде и как можно скорее.

— Да, Ваше Императорское Высочество! — проревел Орбелиани. — Прапорщик будет направлен в свой полк.

— А где сейчас этот полк? — спросила эрцгерцогиня.

— Я думаю, в Италии.

— Тогда, — сказала она, — я этого не желаю. Он был ранен и до сих пор нуждается в помощи. Пожалуйста, организуйте, чтобы его перевели в один из полков, отправленных на Украину.

После этого нас отпустили. Мы поклонились. Я еще раз взглянул на Резу. Мне показалось, что она побледнела. Но прежде чем я смог над этим поразмышлять, майор вытолкнул меня за дверь. Вестибюль был полон людей, которые с интересом смотрели на нас. Новость о срочном вызове Орбелиани, должно быть, распространилась повсюду. Багратион и другие,

с кем я пришел в театр, тоже были уже в курсе дела. Он бросился ко мне.

— Ради всего святого, — прошептал он, — что ты наделал?

Но Орбелиани уже подталкивал меня к выходу, и мне пришлось подчиниться.

— Несчастный, — ругался Орбелиани, — о чем вы вообще думали? Из-за вас у меня будут неприятности, не говоря уже о том, что я не смогу послушать последние два акта «Фигаро»!

— Господин майор, — ответил я, пока нам отдавали наши шинели, — мне говорили, что они хуже, чем первые два акта.

— Молчать! — воскликнул Орбелиани, выталкивая меня из театра. — Что вы понимаете в музыке?

Мне пришлось поспешить вместе с ним в штаб армии. Из-за возможных атак с воздуха он располагался в нескольких жилых зданиях, ради этого расселенных, а не в более подходящем общественном месте. Конечно, ночью здесь были дежурные, но из начальства, к которому должен был обратиться Орбелиани, большинство отсутствовало, и их нужно было дожидаться. Потом они ругались и обвиняли Орбелиани в том, что один из его подчиненных повел себя столь неподобающим образом.

— Вы можете сами поговорить с этим прапорщиком! — кричал Орбелиани. — Он — мой подчиненный всего полдня, у нас не было времени даже чтобы толком познакомиться. Ее Императорское Высочество желает, чтобы его отправили в полк на Украину, где

он сможет вести себя как хочет. Моя задача вовсе не в том, чтобы обуздывать темперамент моих офицеров. Я не пастыр!

Но оказалось, что кавалерийских полков на Украине больше нет. Как только возникла угроза Балканскому фронту, их немедленно отозвали. Теперь они находились в Банате: одна дивизия — в Эрменьеше, другая — в Караншебеше.

— В Эрменьеше и в Караншебеше? — воскликнул Орбелиани.

Да, ответили ему, они сейчас именно там. Но ведь это, воскликнул он, совсем рядом! Да, отвечали ему, самое большее — день пути. Но это же слишком близко! Их Императорское Высочество прямо сказали, что его следует отправить на Украину. Возможно, отвечали ему. Но ради одного прапорщика возвращать на азиатскую границу восемь кавалерийских полков никто не будет. Знали ли Их Императорское Высочество, что этих полков больше нет на Украине?

Очевидно, нет. Какое дело Их Императорскому Высочеству до оперативной дислокации кавалерийских частей! Даже он, Орбелиани, не знал, где они.

В любом случае, ему ясно указали, что Ее Императорское Высочество хочет, чтобы я отправился в украинский полк; и если они уже не на Украине, а где-то еще, мне следует ехать туда, где они сейчас.

Но не так же близко! — кричал майор.

Близко или нет, они определенно не останутся там надолго. Полки должны дожидаться полного укомплектования, после чего вернуться на фронт.

Помолчав пару секунд, Орбелиани спросил, какое место находится дальше от Белграда — Эрменьеш или Караншебеш.

Караншебеш, сказали ему.

Выругавшись на чем свет стоит, Орбелиани заявил, что прапорщик отправится в Караншебеш. Будем надеяться, что Ее Императорское Высочество не узнает, что это так близко. У него не было большого желания заниматься моими делами, а финал «Фигаро», похоже, был уже безнадежно пропущен...

Однако прошло довольно много времени, прежде чем меня удалось откомандировать в тот полк: ведь штаб армии сам такие вопросы не решал. Нужно было получить по телефону указание военного министерства. И это указание было дано только потому, что в Вену доложили о желании эрцгерцогини. Был час ночи, когда я получил на руки приказ, в котором мне предписывалось немедленно присоединиться к драгунскому полку Марии-Изабеллы в Караншебеше.

3

Орбелиани и штабисты, которые звонили по телефону и передавали распоряжения, ушли, и мне тоже ничего не оставалось, кроме как в дурном настроении пойти к себе на квартиру, находившуюся в местечке под названием Космайска. Дверь в дом открылась с усилием, я поднялся в темноте по лестнице и с шумом споткнулся обо что-то в прихожей.

— Антон, — крикнул я, — вставай! Собирайся и седлай коней! Мы уезжаем!

Антон — это был мой слуга, ранее служивший верой и правдой Фердинанду Кренневилю. Антона повторно призвали в армию во время войны — и по особой просьбе Кренневиля отправили мне под начало, хотя прапорщику ординарец не полагался. Но в моем случае требовалась определенная помощь из-за ранения. Кренневиль питал к Антону особое доверие, он знал его очень давно, к тому же это назначение подразумевало, что я всегда буду под присмотром человека, на которого можно положиться. Антон, на самом деле, знал меня с юных лет и часто напоминал мне о том, что я «сидел у него на коленях». Он был интересным человеком. После военной службы с Кренневилем, которую он добровольно продлевал несколько раз, он был слугой в некоторых хороших домах и приобрел там

достойную репутацию. Во всяком случае, с тех пор он считал себя многоопытным слугой, которому теперь приходилось некоторое, недолгое, время выполнять несложные обязанности денщика офицера. Он чувствовал свое превосходство не только над другими денщиками, но и над большинством окружающих. Все, что ему поручалось, Антон выполнял очень добросовестно, но с некоторым высокомерием, подчеркивавшим, что он считает себя мудрее других. Однако, несмотря на весь свой опыт, иногда он пускался в длинные рассуждения, подробно описывал места или неожиданно забывал имена. В этом случае он делал эффектную паузу, щелкал пальцами и указывал на того, кто, по его мнению, должен был знать забытое имя. У него были седые, почти белые бакенбарды и чисто выбритый подбородок. Антон прислуживал мне так обстоятельно, что обычно это занимало втрое больше времени, чем должно было. Нередко он обращался ко мне на «ты», потому что ему совсем не нравился тот факт, что мне уже отнюдь не пять лет.

После того, как я выкрикнул распоряжение, разбуженный Антон наконец-то появился, одетый в рубашку, бриджи и тапочки. Шел он медленно, поскольку был убежден, что причина, из-за которой я разбудил его посреди ночи, совершенно бессмысленна. Он включил свет — в темноте я не нашел выключатель.

— Где ты пропадаешь? — воскликнул я. — Ты оглох?

— Нет, — ответил он. — Я слышу. Господин прапорщик кричал очень громко, я слышал очень отчет-

ливо, и господину прапорщику не следует наступать на игрушки маленького Милана, чтобы не наделать еще больше шума.

Я посмотрел под ноги и понял, что стою посреди множества игрушек: маленького поезда, рельсов, фигурок людей, мостов и вокзалов.

— Что это? — спросил я. — И кто такой маленький Милан?

— Ребенок нашей хозяйки, — ответил он. — К сожалению, господин прапорщик разбудил и его, хотя он, должно быть, очень устал, потому что сам захотел идти спать. После ужина мне пришлось играть с ним в железную дорогу, и он никак не хотел останавливаться, потому что очень ко мне привязался. Дети всегда доверяют мне, я и вас держал на руках, господин прапорщик. Со временем, к сожалению, все меняется.

— Ну? — спросил я. — И почему ты ничего не убрал?

— Мы хотим продолжить игру завтра.

— В темноте тут можно шею свернуть!

— Только если ты не знаешь, куда идти, господин прапорщик! И если, конечно, не выпил лишнего.

— Ерунда! — сказал я. — Довольно. Начинай паковать вещи, а затем седлай коней. Мы уезжаем самое позднее через час.

Антон смотрел на меня, сохраняя невозмутимое выражение лица. Я понял, что он убежден: я нетрезв и несу чушь. Эта уверенность, похоже, постепенно утвердилась в его голове. Еще он мог подумать, что, подвыпив, я собираюсь совершить прогулку верхом

для развлечения. Прикрыв рот рукой и откашлявшись, он сказал:

— Поначалу я удивился, еще, так сказать, в полусне, что господин прапорщик приказал мне собирать вещи и седлать коней. И теперь я удивлен еще больше, что господин прапорщик повторяет свое распоряжение, но продолжает стоять среди игрушек маленького Милана...

Своими словами он давал понять, что приказ, отданный в комнате с игрушками, нельзя воспринимать всерьез. Было похоже на то, что он обращается со мной не как слуга с господином, а как господин с господином. Он никогда не был строг ко мне, он вел себя достойно, его нельзя было упрекнуть. Он старался, чтобы у меня было хорошее настроение. Но, желая довести до него серьезность происходящего, я отступил назад, подальше от игрушек, и сказал:

— Можешь удивляться или нет, мой дорогой Антон, но сейчас мы соберемся и оседлаем коней. Нужно срочно ехать. Завтра утром мы должны быть в Караншебеше. Мы больше не служим при штабе армии в Белграде. Вот уже полчаса, как нас приписали к драгунскому полку Марии-Изабеллы. Так что я ничем не могу тебе помочь.

Когда я это сказал, его надменный и веселый вид испарился, и он как будто стал ниже ростом. Он хотел что-то сказать, но не мог выговорить ни слова. В конце концов Антон произнес:

— Что?

— Антон, — сказал я, — сколько раз повторять, у меня нет на это времени: мы едем. Итак, собирай вещи. Вперед!

— Но куда? — пробормотал он.

— В Караншебеш, я тебе уже сказал.

— И зачем мы туда едем?

— Таков приказ.

— Но почему?

— Потому что идет война. Так что не спрашивай. Солдат не задает вопросов. Ты, похоже, позабыл об этом, работая в уютных домах. Пакуй вещи! Бегом!

Но Антон, кажется, все равно не понимал.

— Но мы здесь всего-то с полудня, — сказал он. — Как же мы можем откомандироваться снова, в это место... как оно называется...?

— Караншебеш.

— ...в Караншебеш. Господин прапорщик, вероятно, совершил что-то не совсем правильное, стратегический просчет или что-то в этом роде. Его превосходительство, — он имел в виду моего двоюродного дедушку, — всегда говорил, что вы больше подходите для гражданской профессии, господин прапорщик...

— Тихо, — крикнул я, — что ты в этом понимаешь!

— Конечно, — причитал он, — что-то, должно быть, случилось с вами, вероятно, оплошность по службе, если не что-то хуже...

— Прекратить спор! — воскликнул я. — Я приказал тебе собираться, и ты должен выполнять, или я тебя пристрелю! Тогда увидишь, знаю я что-нибудь о войне или нет!

С этими словами я толкнул дверь в свою комнату и включил свет. Лампа осветила стол, на нем лежало письмо. Я подошел, взял письмо и рассмотрел его. Оно пришло не по почте, обычной или полевой, потому что на нем не было марок. Должно быть, доставил посыльный. Конверт был большой, из плотной бумаги цвета слоновой кости, и, перевернув его, я увидел тиснение — корону эрцгерцога с витиеватой монограммой.

— Откуда взялось это письмо? — крикнул я.

Антон появился из-за двери и жалобным и в то же время упрямым голосом сказал:

— Его принесли. Не хочет ли господин прапорщик сказать наконец, почему господину прапорщику нужно...

— Молчать! Кто принес?

— Лакей. В ливрее с золотыми аксельбантами.

— Когда это было? — перебил я его. — В какое время он приходил?

— В половине двенадцатого, когда я в первый раз проснулся. Лакей не знал точного адреса и сначала звонил в другие квартиры. Его привели соседи, позвонили в дверь и разбудили нас всех. И все это за одну ночь!

— Он что-нибудь еще сказал?

— Нет.

— Разве он не сказал, от кого письмо?

— Нет. Но письмо определенно связано с тем, что мы должны сейчас убираться отсюда в этот... как называется это место?

Он щелкнул пальцами и посмотрел на меня, желая услышать название места, куда нам предстояло ехать.

Но я не ответил. Я раскрыл письмо. Оно было от Резы. Написано было явно на скорую руку, несколько слов она вычеркнула и сделала несколько описок. В письме говорилось: «Прошу вас поверить мне, что примененная к вам мера действует на меня не меньше, чем на вас. Даже если я не могу принять на себя вину в происшедшем, меня очень огорчает тот факт, что это из-за меня вас отсылают так далеко. И я не хочу, чтобы вы уезжали из Белграда, не приняв ничего на память обо мне и о баронессе М. — Р.Л.».

Я опустил письмо и некоторое время смотрел перед собой. В следующее мгновение меня охватило чувство счастья, которое подсказывали мне эти строки. Я сразу же принял решение. Перед отъездом из Белграда мне нужно вновь увидеться с Резой. Потому что это письмо было не просто знаком сочувствия. Во всяком случае, в моем понимании. Я сунул письмо в карман и распорядился:

— Антон, собирайся, потом ступай в конюшню, оседлай всех трех лошадей и веди их сюда, к дому. Собирай все и жди. Я сейчас уеду, но, когда вернусь, все должно быть готово. Мы сразу же выезжаем.

С этими словами, не слушая его расспросов, я ушел. Я быстро добрался до дома Багратиона — я был у него перед тем, как мы отправились в оперу, но не помнил точный адрес. Мне пришлось позвонить в несколько дверей, прежде чем я нашел его.

— Послушайте, — сказал я, пока он, сидя в постели, протирает глаза, — послушайте, мне нужно немедленно узнать, где живет Реза Ланг. Я должен ее увидеть. Я должен поговорить с ней.

— Боже мой! Опять! — воскликнул он. — Вы уже получили выговор за вторжение в ложу. Тебя переведут в другое место.

— Меня уже перевели, — сказал я. — И мне придется уехать. Но перед этим я должен поговорить с Резой. Она написала мне письмо.

— Она написала тебе письмо?

— Да. Так где она живет?

— Где она живет?!

— Да, где она живет? — уже почти кричал я.

— Я не знаю! Наверное, тоже в Конаке.

— Что это?

— Дворец королей Сербии. Это Хофбург, Кремль, Букингемский дворец, только в Белграде. Эрцгерцогиня поселилась там, так что она тоже там.

— Багратион, — сказал я, — немедленно вставай, иди в этот Конак, поговори с ней и договорись о встрече.

— Что — сейчас? Посреди ночи? В Конак? Чтобы и меня куда-нибудь перевели? Ты, должно быть, совсем не в себе!

— Багратион, — сказал я, — я не могу спросить там о ней сам, иначе меня бы тут не было. Но ты можешь. Тебя ни в чем не заподозрят. Ты должен сделать это для меня! Пойти туда, поговорить с ней и спросить ее, где я смогу ее увидеть, но немедленно, сейчас же, потому что на рассвете я должен быть в пути!

— Но она уже спит.

— Разбудишь ее. Это важно.

— А если Ее Императорское Высочество...

— Что?

— Если она узнает?

— Она не узнает. Все зависит от тебя, сделаешь ли ты все достаточно разумно.

— Но я недостаточно разумен, чтобы это сделать, то есть я не настолько глуп, чтобы это сделать.

— Ты должен это сделать, Багратион!

— Это совершенно необходимо?

— Да.

Он еще некоторое время сидел в постели, затем сказал:

— Ты принесешь мне несчастье!

И встал.

— Ужасно, — жаловался он, надевая форму, — просыпаться среди ночи от сообщения, что два полка уничтожены, а не от ваших дурацких любовных историй. Меня разжалуют, это будет конец.

— Все будет хорошо, Багратион, — сказал я. — Ты мой друг. Ты сделаешь это для меня. Я с самого начала знал, что могу на тебя положиться.

Он проворчал что-то нечленораздельное, заканчивая одеваться.

— Пойдем, — сказал я, — возьми сигарету. Мы сейчас вместе идем туда, я подожду снаружи, а ты войдешь и сделаешь то, что я просил. И сразу же вернешься домой. Пойдем!

— Звучит уже лучше, — пробормотал он, а я уже выпихивал его из комнаты.

Мы вышли на улицу. Из-под темных облаков показалась луна, город был окутан тишиной, наши шаги

эхом разносились по улицам. До Конака было всего несколько минут пешком. Старый город в Белграде небольшой. Конак тоже небольшой. Здание в стиле барокко восьмидесятых.

Окна были темны, только с подъездной дорожки падал свет. Перед входом стояли два охранника. Отблески фонарей играли на их шлемах. Мы остановились примерно в пятидесяти шагах, в тени дома.

— Ты войдешь, — сказал я Багратиону, — и попросишь кого-нибудь из слуг разбудить ее. Может, там будет тот самый лакей. Но ни в коем случае не столкнись с офицером или с кем-либо из управляющих — если они вообще там есть. Обращайся только к слугам. Дай хорошие чаевые, — я вложил ему в руку банкноту, — и скажи, что нужно разбудить госпожу Ланг, что тебе срочно нужно с ней поговорить. Затем скажешь ей, что я сегодня ночью должен уехать, но очень хочу перед этим поговорить с ней. Спроси, как и где это возможно. Дай ей понять, что я обязательно должен поговорить с ней. Если она откажется, скажи ей, что я не уеду из Белграда, пока с ней не поговорю, и тогда это будет ее вина, если я нарушу приказ и понесу за это наказание, понимаешь? Короче, я должен с ней поговорить. Теперь иди!

Он помолчал мгновение, затем сказал:

— Можно подумать, что ты только и делаешь, что пробираешься в королевские дворцы!

— Почему?

— Ты точно знаешь, как это делать.

— Это еще одна причина, — сказал я, — чтобы ты точно следовал моим инструкциям.

С этими словами я вытолкнул его в лунный свет, и он, качая головой, пошел через площадь ко входу в Конак.

Но не успел он подойти близко, как стража остановила его. Он сказал что-то, я не понял, что именно, но дальше его не пропустили. Он снова им что-то сказал, ему ответил один из охранников, мне показалось, что спор идет на так называемом солдатском славянском языке, он длился две-три минуты, потом Багратион вернулся.

— Что, черт возьми, случилось? — возмутился я. — Почему ты вернулся?

— Меня не пускают, — сказал он. — Нужен пропуск.

— Пропуск?

— Да.

Я на мгновение задумался.

— Охрана у ворот — славяне?

— Боснийцы или что-то в этом роде.

— Ты им сказал, когда уходил, что идешь за пропуском?

— Нет.

— Стоило бы сказать. Но, может быть, и так сработает.

— Что ты имеешь в виду?

— Вот, — сказал я и достал свое предписание. — Скорее всего, они не умеют читать, по крайней мере, по-немецки. Ты покажешь им это предписание и скажешь, что это пропуск.

— И ты думаешь, они мне поверят?

— Да.

— А если там будет офицер? Он увидит, что это не пропуск.

— Офицера там не будет, в худшем случае будет унтер-офицер. Они просто сторожат вход. И унтер-офицер по-немецки тоже не читает. Так что вперед!

Он взял мое предписание, сказал, что теперь его точно расстреляют, и пошел обратно. У входа он показал «пропуск». Один из охранников подозвал на подъездную дорожку унтер-офицера. Пропуск — это ведь сравнительно небольшой листок бумаги, а предписание — большой лист, который никоим образом не спутаешь с обычным пропуском, даже унтер-офицер не должен был перепутать. Но он довольно долго рассматривал бумагу, и я убедился, что, во-первых, он в самом деле не умеет читать по-немецки, иначе понял бы, что держит в руках командировочный приказ; во-вторых, он, похоже, решил, что документ такого размера дает даже большее право войти в Конак. Такой документ мог значить нечто важное и срочное, а значит, унтер-офицер рисковал нарваться на неприятности. Наконец, он сложил документ, протянул Багратиону, почтительно поприветствовал его, щелкнул каблуками и пропустил его внутрь. Багратион скрылся из виду и не появлялся почти час. Я тем временем курил одну сигарету за другой, луна смещалась все дальше по небу, иногда прячась за облаками, ее свет падал на фасад Конака, отражаясь от окон. Я уже начал терять терпение, представляя, что случится, если Багратиона поймают. Но наконец он вышел. Охранники отдали ему честь, и он вернулся ко мне.

— У меня ноги дрожат, — произнес он.

— Почему? — спросил я. — Что это значит? Почему они вдруг дрожат? Ты поговорил с Ланг? Что она сказала?

— Послушай, — сказал он. — Это значит — держи свое проклятое предписание, — и он сунул его мне в руку. — Итак, рассказываю. Первым, кого я встретил, когда добрался до ворот, был унтер-офицер, который явно не читает по-немецки.

— Я знаю, — перебил я его. — Я видел.

— Видел? — сказал он. — Хорошо. Он пропустил меня, путь оказался открыт. Справа и слева от этой подъездной дорожки видны большие стеклянные двери, а за ними лестница. Я собирался подняться по ней, но не знал, куда идти дальше. Я прошел во двор, из которого сразу несколько дверей ведут внутрь, в самом конце — большой лестничный пролет, ведущий на террасу.

— Мне не интересно, — сказал я, — сколько там дверей и лестниц, рассказывай, что тебе удалось. Не тани!

— Ты дашь мне договорить или нет? Ты же не знаешь, что случилось!

— Так что же с тобой случилось?

— Слушай. Сначала я поднялся по большой лестнице на террасу, но обнаружил, что дверь наверху, которая ведет внутрь, заперта. Тогда я спустился по лестнице вниз и оглядел двор, потому что я не мог спросить у охраны, ведь это вызвало бы подозрения...

— Почему? — спросил я. — Даже если тебе приказали отправиться в Конак, ты мог оказаться там

впервые и не разобраться, что к чему. Было бы естественно спросить.

— Но охранник, вероятно, не смог бы ответить. Ведь боснийцы, которые дежурят у входа, постоянно сменяются?

— Так, — согласился я.

— Ну вот. В итоге я решил попробовать другую дверь во дворе. Она тоже оказалась заперта.

— Ты долго будешь меня морочить? — воскликнул я. — Что за ерунду ты несешь?! Ты поговорил с Ланг или нет?

— Нет, — сказал он. — Не говорил.

— Что?

— Нет. Но я говорил с Мордакс.

— С Мордакс?

— Да, с Мордакс.

— Рассказывай! — чуть не кричал я. — Время идет, мне уже давно пора быть в пути! Что она сказала?

— Ты не заслуживаешь, — ответил он, — чтобы я тебе рассказывал, мне было чертовски трудно добиться этого разговора...

— Верно, не заслуживаю. Я просто хочу знать, что она сказала! То есть продолжай!

— В самом деле, — сказал он, — ты ведешь себя так, что мне хочется замолчать и вообще не говорить о том, что я для тебя сделал. Я пытаюсь рассказать тебе все. Мне пришлось разбудить трех или четырех слуг, пока я не нашел того, который знал, где спят молодые женщины.

— Молодые женщины? Они в одной комнате?

— Да. Или тебя это не устраивает? Ты ожидал, что все будут спать отдельно?

— Я ничего не ожидал, — ответил я, — и меня не очень волнует, как они спят — отдельно или нет. Дальше!

— В коридорах, — продолжил он, — я никого не встретил. На тот момент никого. Но кое-кого я все же встретил. Но об этом позже.

— Да, — согласился я, — позже. Но что случилось?

— Лакею, — продолжал он, — я по твоему совету дал денег и сказал, что должен поговорить с Ланг. Конечно, он ни за что не хотел к ним входить. Но в конце концов я уговорил его разбудить их. Тем временем он провел меня в небольшую гостиную и оставил ждать. Тебе, конечно, опять будет неинтересно, если я скажу, что он несколько раз возвращался и говорил, что девушка не желает говорить, а я заставлял его возвращаться к ним и спрашивать Ланг еще раз. Все осложнялось тем, что он тоже вел переговоры не напрямую, а через горничную, которую тоже пришлось разбудить. Сколько народу из-за тебя перебудили этой ночью! Короче говоря, наконец появилась Мордакс.

— Ну и... — торопил я.

— Ну и вот. Она спросила меня, чего я хочу от Резы. Я сказал ей, что ничего, что хочу спать, а не бродить по Конаку и рисковать своим положением, но есть ты, который, как я сказал, хочет поговорить с Резой. Новые переговоры, которые тебя, конечно, тоже не интересуют, меня уже начали раздражать. Так что я

скажу тебе прямо. Мордакс в конце концов подтвердила, что Реза с тобой встретится.

— Браво! — воскликнул я. — А где?

— В той же комнате, где я говорил с Мордакс. Лакей ждет тебя во дворе, чтобы проводить. Но, видит Бог, ты должен быть предельно осторожен, понимаешь? Потому что на обратном пути меня чуть не поймали. Когда мы, лакей и я, шли обратно по коридору, одна из дверей внезапно открылась — лакей тут же затащил меня за портьеру — и появилась странная фигура в халате. Лакей прошептал мне, что это старый его превосходительство, который никак не может заснуть и всегда бродит по ночам, и я увидел...

— Мне все равно, — перебил я его. — Значит, лакей ждет меня во дворе? Хорошо. У тебя все получилось, Багратион, хоть это и было так утомительно. В любом случае большое тебе спасибо. Было ужасно мило с твоей стороны сделать это все для меня. Ты мой друг. Я признателен тебе. До свидания!

Сказав это, я быстро пожал ему руку и устремился во двор. Не поступи я так, он, вероятно, продолжил бы рассказывать о причинах дрожи в ногах и тому подобном. Однако я понял, что нужно избегать бессонного его превосходительства, слоняющегося по коридорам.

— Стой! — крикнул мне вслед Багратион. — Послушай меня!

Но я не слушал. У меня действительно не было времени. Я подошел к охране и помахал своим предписанием. Меня поприветствовали и пропустили. Возможно, они даже не заметили, что я не Багратион.

Я прошел по подъездной дорожке и вошел во двор. Лакей вышел из тени и помахал мне рукой. Позолота его аксельбантов и ливреи ярко поблескивала. Я подошел и узнал в нем того, кто был в театральной ложе. Возможно, он же и доставил мне письмо. Не говоря ни слова, он взял меня за руку и повел через один из входов в дом. Мы поднялись по тускло освещенной лестнице и наверху вошли в длинный коридор. Должно быть, это был тот самый коридор, где бродил его превосходительство, потому что лакей осторожно оглядывал из-за углов, и я тоже постоянно оглядывался. Но никого не было. Мы быстро пересекли его и вошли в дверь напротив, в темную комнату — только лунный свет, падающий снаружи на собранные портьеры, рассеивал по комнате свои молочные лучи. Из этой комнаты мы перешли в другую и далее в анфиладу комнат и залов. В полутьме нам открывались фантастические, помпезные декорации. Мы подошли к залу, портьеры в котором не были задернуты, луна все так же изливала потоки серебра и освещала трон, над которым возвышался мрачноватый балдахин. Мы пересекли зал, и, хотя мы ступали тихо, наши шаги и скрип паркета невероятно долгим эхом отражались от высоких стен и звучали как щебет бесчисленных голосов. Затем мы миновали еще несколько темных комнат, повсюду царил особый запах старой мебели и картин. Наконец лакей открыл дверь в комнату, в которой горел свет. Это, как я понял, и была та самая маленькая гостиная. Реза стояла посредине, прислонившись к столу, а Мордакс сидела на шелковом диване позади нее. Лакей впустил меня и ушел.

На девушках были легкие пледы, совсем мало украшений, туфли на высоком каблуке. И ноги без чулок. У них было время немного приодеться. Я подошел к Резе и поцеловал ей руку.

— Простите меня, — сказал я, — что я вторгся сюда. Но я не мог уехать, не увидев вас снова.

Затем я повернулся к Мордакс.

— Не могли бы вы оказать милость, баронесса, — сказал я, — и оставить нас одних на несколько минут?

— Нет, — ответила она. — Уже достаточно безответственно с моей стороны согласиться на вашу с Резой встречу. Вас могут обнаружить в любой момент, и ситуация станет совершенно невозможной, тем более если вы будете с Резой наедине. Говорите ей то, что желаете сказать, и потом, пожалуйста, уходите.

— Я не нахожу, — ответил я, — эту ситуацию такой уж невозможной. С другой стороны, не вижу, чем лучше, если мы будем говорить в вашем присутствии. В том, что мы встречаемся в таких обстоятельствах, виноваты обстоятельства, а не я.

— Не забывайте, — сказала баронесса, хмурясь, — что это вы создали эти обстоятельства. Вполне возможно, что вы бы познакомились с Резой и в других условиях, а не в тех, которые имели столь серьезные последствия.

— Возможно, — сказал я. — Но вам лучше поблагодарить того штабного офицера за скандал, а не меня. Я никак не ожидал, что столкнусь с таким ослом. И, наконец, не могли бы вы также сказать мне, почему вам пришлось решать, будет ли Реза встречаться со мной или нет.

Мордакс уже хотела было ответить мне что-то резкое, но Реза опередила ее:

— Причина — дружба, которая и побудила баронессу дать мне совет в этой ситуации. Я сама поступила бы точно так же, касайся дело ее. Баронесса здесь по моей просьбе.

— Но она бы могла и уйти, вопреки вашей просьбе.

Эта моя грубость была настолько ошеломляющей, что Мордакс не нашлась, что ответить. Последовала пауза, потому что Реза тоже ничего не сказала. Я пришел к выводу, что Мордакс была здесь не по воле Резы. Реза, казалось, успела понять, что нам нужно остаться наедине. Мои слова возымели действие. Мордакс покачала головой и, наконец, сказала:

— Вы действительно удивительно наглый человек!

— Послушайте, баронесса, — ответил я, — вы, должно быть, так хорошо воспитаны, что не можете понять, что иногда можно оставить девушку одну, если она хочет с кем-то поговорить. Это как раз такой случай. Вам действительно не нужно повсюду ее сопровождать. Мое уважение к ней так велико, что я не сомневаюсь в том, что она прекрасно знает, как ей должно вести себя. Или вы не согласны?

— Конечно! — воскликнула она. — Но я знаю и то, что вы не умеете себя вести!

— Баронесса, — ответил я, — вы говорите не как молодая подруга, а как старый каноник. Это же смешно!

Я подошел к дивану и встал напротив нее.

— Прошу вас, — сказал я. — Уверяю вас, что мы с Резой будем вести себя так же, как если бы вы оставались здесь. И мне очень неприятен тот факт, что вы

нас контролируете. Пожалуйста, доставьте нам удовольствие и уйдите. Уверяю вас, что расстанюсь с вами с чувством сожаления. Не волнуйтесь. Реза вернется к вам через десять минут.

Сказав это, я сопровождал ее до двери. Она позволила себя проводить и, подойдя к двери, повернулась ко мне, пожала плечами и потянулась к ручке. Так, постояв немного, она сказала:

— Хорошо. Как хотите. Но Резе следует вас остерегаться.

Сказав это, она распахнула дверь и вышла. Я посмотрел ей вслед, затем повернулся к Резе и встретился с ней глазами. Она отвела взгляд. Я подошел к ней, взял за руки и поцеловал их:

— Я должен поблагодарить вас за то, — сказал я, — что вы простили мне мою назойливость, за сочувствие, которое вы проявили ко мне, за вашу доброту, с которой вы подарили мне эту встречу. Я действительно не смог бы уехать отсюда, если бы не увиделся с вами снова.

— Вам не нужно меня ни за что благодарить, — ответила она. — Мне жаль, что я стала причиной вашего перевода.

— Возможно, — сказал я, — это потому, что вы столь прекрасны, и я ничего не мог поделать, кроме как сразу подойти к вам. Возможно, вы чувствуете вину. Но я был бы счастлив взять на себя любые последствия, какими бы они ни были, только бы увидеть вас снова.

— Мне так жаль, — сказала она, и румянец залил ее лицо.

Я сжал ее руки.

— Не стоит так думать. Вам решать, встретимся мы снова или нет.

— Что вы имеете в виду? — спросила она.

— Украинские полки, — сказал я, — в которые я должен отбыть, больше не на Украине. Они сейчас в Банате, всего в нескольких часах езды отсюда. Вместо того, чтобы быть в сотнях часов от вас, я буду на расстоянии недолгой дневной поездки. Судьба, кажется, дает нам шанс. Мы не должны его упустить, но принять то, что она предлагает нам по одной из своих прихотей. Фортуна не всегда бывает благосклонна.

Она подняла глаза. Если бы она могла тогда знать, что судьба желает не ее счастья, а нематериальной, но не менее болезненной гибели ее любви, она бы приказала мне немедленно уйти. Вместо этого она промолчала, и я продолжил:

— Полк, к которому я теперь приписан, находится в деревне под названием Караншебеш. Оттуда, если скакать быстро, меняя лошадей, вечером можно прибыть в Белград, особенно сейчас, в длинные осенние ночи, остаться здесь ненадолго и вернуться обратно до рассвета. Если вы захотите меня видеть, мы можем встретиться завтра вечером.

— Нет, — быстро ответила она, — вы не должны этого делать! Вас отправили туда как раз для того, чтобы мы больше не встретились. Подумайте, что вас ожидает, если вас снова здесь увидят.

— Меня не увидят, — сказал я. — Так же, как они не знают сейчас, что я все еще здесь, они и завтра не узнают.

— Но с вами может что-то случиться в дороге! Может случиться несчастье, или по какой-то другой причине вас задержат, и если вы не вернетесь утром... И вы не сможете так быстро добраться туда и обратно за одну ночь!

— Почему нет? У меня три лошади. Я отправлю одну в Белград днем с моим конюхом, и она будет ждать меня здесь. На второй я покину Караншебеш ночью, как только смогу уехать, и мое отсутствие не заметят. Я буду здесь около часа ночи. А ближе к трем я сяду на первую лошадь и до рассвета вернусь в Караншебеш. Лошадь, на которой я приеду, спокойным шагом вернется назад. Они легко выдерживают такое напряжение. Охотники часто скачут часами; и расстояние не такое уж большое. Днем мы идем преимущественно шагом или короткой рысью; а что может случиться со мной по дороге? Лошадь — это не машина, которая может сломаться. Конечно, она может захромать. Но если такое произойдет на пути сюда, то я попросту не доеду, а приеду уже следующей ночью. А если на обратном пути — мне придется смириться. Кроме того, лошади обычно не хромают во время галопа: если мышцы теплые, это значит, что хромота не выйдет наружу. Она проявляется только тогда, когда они какое-то время побудут в конюшне. Когда вы выводите их наружу, то замечаете, что что-то не так. Я очень люблю лошадей, но должен признаться, что ради вас я бы извел целый эскадрон. Вы понимаете меня?

Она молчала.

— Так что же? — спросил я, все еще держа ее руки в своих.

— Вы можете догадаться, — сказала она наконец, — что я тоже хочу увидеть вас снова. Но я не могу просить, чтобы вы отважились на такое ради меня.

— Можете или нет, — сказал я, — но я определенно отважусь. Даже если бы вы не хотели этого, я бы вновь и вновь пытался увидеть вас. Я обязательно вернусь в Белград завтра вечером. И если вы откажетесь видеть меня, вы тем самым не предотвратите опасность, в которой я окажусь, а создадите ее. Потому что если вы примите меня, то опасности нет. Здесь мы можем говорить друг с другом без того, чтобы нас заметили. Опасность возникнет, только если мне придется искать доступ к вам против вашей воли. Тогда я рискну разбудить всех здесь, в Конаке, пока не увижу вас. Было бы лучше, если бы мы встречались не здесь, а где-то в другом месте. Когда вы покидаете дворец, это не так заметно, как замечают меня, входящего сюда. Если позволите, я попрошу Багратиона предоставить нам его квартиру, чтобы мы могли там встретиться. Потому что в моей квартире завтра уже поселят кого-то другого...

— Нет, — воскликнула она, — это невозможно!

— Почему?

— Я не смогу отлучиться так надолго. Мордакс — моя подруга, но я убеждена, или, вернее, поэтому я убеждена, что она не позволит, чтобы я... отсюда куда-то ушла. Она определенно что-нибудь сделает. Я смогу... только здесь... и только на несколько минут... увидеться с вами.

Она сказала это, не глядя на меня. Я решил удовлетвориться этим обещанием. Мне показалось бес-

тактным не заметить усилий, которые она делала над собой, принимая это решение.

— Спасибо вам, — сказал я. — Вы не представляете, насколько счастливым меня делаете. Завтра я снова буду здесь, около часа ночи. Меня беспокоит только, что ситуация может быть рискованной. Вдруг кто-нибудь в этом доме случайно...

— Надеюсь, что нет, — сказала она. — Спальня эрцгерцогини отделена от нашей только одной комнатой, но не стоит предполагать, что она войдет в нашу или в эту комнату ночью. Но, даже если бы это случилось... я бы что-нибудь придумала, чтобы вы... чтобы вас... не заметили... я бы взяла все на себя... Но теперь я буду все время думать о тех неприятностях, с которыми можете столкнуться вы...

— Реза, — сказал я, — я и не думал, что уйду отсюда с таким легким сердцем!

На мгновение мы встретились взглядами.

— А теперь идите, — попросила она. — Я должна остаться, а вы должны уйти. Скажите лакею ждать вас завтра в положенный час. Я буду ждать вас здесь с часу ночи.

— Но без Мордакс, — сказал я, и она коротко рассмеялась.

— Хорошо, — сказала она, — без Мордакс. До свидания, — добавила она.

Я поцеловал ее руки, крепко сжал их и вышел. Она проводила меня взглядом. За дверью ждал лакей. Он взял меня за руку и повел обратно, но на этот раз выбрал другой путь. Он, казалось, знал, что бессонный его превосходительство уже вернулся в свою

постель. Когда мы оказались во дворе, я сказал ему ждать меня следующей ночью с половины одиннадцатого. И не поскупился на чаевые. На том я покинул Конак. Стража — уже сменившаяся — приветствовала меня и пропустила. Я быстро свернул в сторону своей квартиры. Издалека в свете уличного фонаря я увидел лошадей, стоящих перед домом. Когда конюх заметил, что я иду, он немедленно принялся проверять седло. Антон, держа мою портупею и пистолет, подошел ко мне. Весь его вид выражал неудовольствие, но, скорее всего, он действительно устал.

— Который час? — спросил я.

— Почти половина шестого, — сказал он, — мы уже думали, что господин прапорщик снова попал в историю и вообще не вернется.

— Не переживай, — ответил я. — Мы едем сейчас же. Мы будем в полку не позднее девяти. И тогда ты сможешь, наконец, спокойно поспать, старина Антон. И я определенно не стану тебя будить всю следующую ночь.

С этими словами я похлопал его по плечу. Он что-то пробурчал, протягивая мне ремень и пистолет. Казалось, он тронут моими словами. Между тем конюх затянул седло, проверил подпруги и стремяна.

— Когда же господин прапорщик, — сказал Антон, — расскажет мне, что случилось?

— Ничего, — ответил я. — Ничего не случилось. Нас перевели. Вот и все.

Я обошел лошадей, оглядывая, все ли с ними в порядке. Они тихонько фыркнули. Это были мой собственный большой гнедой конь по имени Мазепа и

две казенные лошади — Фаза и Гонведгусар. Все три были основательно навьючены, сверху торчали наши походные одеяла и шлемы. Справа с седел свешивались сабли. Конюх и Антон были в шинелях, за спиной — карабины, на шее у каждого висел мешок с хлебом, по бокам позвякивали штык, кинжал и лопата. Ведь на самом деле они были никакими не слугами, а такими же драгунами, назначенными мне в качестве ординарцев. Антон с его седыми бакенбардами выглядел как знатный старик, который зачем-то серьезно вооружился. Я поднял меховой воротник и обмотал аксельбанты вокруг шеи. Невозможно было предугадать, выскажет ли кто-нибудь недовольство, если они будут болтаться туда-сюда, не говоря уже о полковнике, к которому мы в конце концов должны будем явиться. Ведь мной и так уже были недовольны. Я проверил снаряжение у слуг. Все было в порядке. Антон повесил мне на шею бинокль и подсумок с противогазом, после чего я влез в седло. Рядом в седло Фазы взбирался конюх. Мазепа слегка покачнулся, почувствовав вес, и фыркнул, как большая, мощная машина. Затем мы шагом двинулись по мостовой к Дунаю.

Ниже по течению, возле крепости, через реку были наведены два огромных понтонных моста, от которых через болота дальше на север тянулись узкие, недавно проложенные дороги. Войска и военная техника доставлялись в город по этим мостам после того, как был взорван железнодорожный мост, ведущий из Земли на большой остров, через реку Саву. Железнодорожный мост тем временем ремонтировали. Понтонные мосты все еще были забиты транспортом. Они считались чрезвычайно важными для связи с Банатом, потому что иначе осталась бы только одна переправа.

Мосты состояли из огромных пустых цистерн, которые ставились на якорь, а сверху на них клали толстые доски. Дунай в этом месте очень широкий. Постройка этих понтонных мостов была выдающимся достижением. Один проходил в двухстах шагах от другого. Первоначально мост был только один, но он оказался слишком узким, чтобы пропустить такое количество транспорта, и потребовалась вторая переправа.

Ветер, дувший нам в лицо, когда мы ехали к реке, был теплым и влажным, мостовая, там, где она еще оставалась, все ярче блестела от влаги, капли падали с крыш и собирались в сверкающие полосы на тротуарах, оседали на стенах домов. Заходящая луна

наполняла лежащий над рекой туман бледным вишневым сиянием, и надо всем этим медленно таяла огромная бледная радуга.

Западный мост, к которому мы подошли, на ночь оказался закрыт, стоявший там постовой направил нас к другому мосту. Я показал свое предписание. Нас пропустили, и мы ступили на мост. Доски гулко отдавались под копытами лошадей. Луна, которая вот-вот должна была погрузиться в беспросветную тьму, осветила воду последним светом и исчезла. Было слышно, что течение под нами быстрое.

Нам пришлось ехать шагом почти десять минут, прежде чем мы добрались до другого берега. Начал накрапывать дождь, и как будто поднимался утренний ветерок. Потребовалась еще четверть часа, чтобы миновать узкие дороги, затем мы перешли на рысь.

Мы ехали по освещенной стороне, а кругом темные поля уходили в темную неизвестность. Около шести начался рассвет. Теперь мы не могли больше терять время и пустились галопом.

Дорога была песчаной и мягкой и постепенно расширялась. В деревнях, через которые мы проезжали, земля была твердой и гладкой, словно утрамбованной, так что казалось, что дома стоят на своего рода естественных площадях. Пару раз мы переходили на рысь, но потом снова пускались в галоп. Солнце взошло в семь часов. В восемь мы добрались до Эрменьеша.

Здесь, в самой деревне и в ее окрестностях, стояла гусарская дивизия, состоявшая из полков Королевы, Палфи, Пеячевича и Графа Фландрского. Рядовые уже выводили лошадей из конюшен и седлали их.

— Куда-то отправляемся? — спросил я у вахмистра.

— Нет, — ответил он, с подозрением глядя на меня, — дивизия точно никуда не идет, нам просто приказали выйти на строевую подготовку.

— Вот как? — сказал я, удивляясь чему-то странному в его поведении.

Но по какой-то причине, о которой я не мог дать себе отчет, я не стал больше задавать вопросов. Я только спросил, далеко ли до Караншебеша.

— Чуть больше часа езды, — сказал он.

На окраине села мы проследовали мимо группы офицеров, которые стояли возле своих лошадей и курили. Мы поскакали дальше, а они смотрели нам вслед.

Темная земля теперь чередовалась с пастбищами, лугами и полями, рядами акаций и чего-то еще, кукурузными полями, на которых все еще щетинились высокие подгнившие стебли. Засохшие подсолнухи перевешивались через забор одной-единственной усадьбы — мы проехали мимо ее флигеля. Усадьба стояла справа от дороги, к ней вела аллея из тополей. Мы миновали большое стадо белых и серых пасущихся коров. То и дело попадались колодцы, несколько ветряных мельниц. Над нами нависало серое осеннее небо. Но воздух уже понемногу теплел.

Около девяти впереди показался Караншебеш, а через несколько минут мы уже достигли въезда в деревню. Лошади были покрыты пятнами свежей и несвежей грязно-белой пены и пота. Мы перешли на шаг. Дорога была широкой, что необычно для деревни, — шагов в сто пятьдесят. Рядовые бродили возле домов.

— Какой полк? — спросил я у капрала.

Он ответил, что здесь расквартированы тосканские уланы, а дальше — драгунский полк Марии-Изабеллы; еще одна бригада расположилась в соседнем Чепреге: полки драгун Германский Королевский и Графа фон Кейта.

— А командование? — спросил я.

— В особняке на другом конце деревни.

— Полки уже выступили? — спросил я.

Он сказал, что уланы выступают на марш, но на короткое время, так что пока они осматривают лошадей и проверяют оружие и выюки, так как вскоре они должны будут уйти отсюда. Он бросил на меня странный взгляд, как до этого вахмистр в Эрменьеше.

— Вот как? — спросил я. — Когда?

— Не знаю, — сказал он, пожимая плечами.

Такое поведение меня очень удивило, и я заметил ему, что не следует пожимать плечами, разговаривая с офицером.

— Где драгуны?

По его словам, полковник как раз осматривал некоторые эскадроны.

Я не сводил с него глаз еще мгновение, затем снова прищпорил лошадь. Я слышал, как звякнули шпоры. Странные у них тут унтер-офицеры, подумал я. Меня обеспокоило, что полки скоро уходят. Кто мог знать, куда теперь отправят! Во всяком случае, еще дальше от Белграда. Я мог больше вообще не увидеть Резу. Меня так поглотила эта тревожная мысль, что я заметил эскадрон драгун, только когда мы оказались совсем рядом.

Эскадрон — в шлемах и шинелях, и, очевидно, в полном вооружении — выстроился длинной шеренгой спиной к ближайшему ряду домов, а полковник с еще двумя всадниками остановился перед ним и, привстав в стременах, осматривал личный состав. Я вместе с ординарцами подъехал к нему и доложил, что меня направили в его полк. Несколько секунд он смотрел на меня, потом на наших лошадей, потом снова на меня. Наконец он пожал мне руку.

— Вас, — сказал он, — не просто направили ко мне, вас перевели в мой полк. Вы шли галопом?

— Я получил приказ, — ответил я, — прибыть сюда как можно скорее.

Он очевидно уже был уведомлен по телефону о моем прибытии, и вдобавок ко всему, ему сообщили, что я не только отправлен к нему в полк, но и зачислен в него. Но, по всей видимости, ему не назвали причину моего перевода. Полковнику явно не терпелось ее узнать, потому что он испытующе смотрел на меня, хотя не хотел спрашивать прямо.

— Как его превосходительство генерал Кренневиль? — спросил он наконец.

Значит, он уже знал о моих родственных связях. Видно, решил сперва прозондировать почву.

— Большое спасибо, господин полковник, — сказал я. — Его превосходительство в порядке.

Я не видел Кренневилья несколько месяцев, так что мой ответ был малоинформативным.

— Что это за лошади? — спросил полковник.

— Моя собственная, — сказал я, — и две казенные.

— А ординарцы?

— Ординарцы — из состава сицилийских драгун и приписаны ко мне.

— Их мы тоже принимаем? — спросил он у адъютанта.

— Так точно, — сказал адъютант.

Наступила пауза. Я смотрел на полковника. Он был высоким, худым и выглядел нездоровым. Пару раз он встряхнул поводья, затем позволил им упасть на шею лошади. Казалось, он о чем-то думал.

— Знакомьтесь, — сказал он мне наконец.

Меня представили коменданту эскадрона ротмистру князю Чарторыйскому, стоявшему рядом с полковником, адъютанту лейтенанту Кляйну и прапорщику графу фон Хайстеру. У прапорщика в руках был странный предмет, какого я никогда раньше не видел. На копьеподобном шесте, который он держал в правой руке, наверху, висела выцветшая тряпка, поблескивающая металлической вышивкой, а поверх нее — привязанные обветренные ленты, целая связка. Полковник тем временем двинулся дальше, прапорщик последовал за ним, а Чарторыйский отдал эскадрону команду спешиться. Я спросил у адъютанта, что это держит прапорщик.

— Штандарт, — ответил он.

— Штандарт?

— Да.

Эскадрон спешился, и Чарторыйский приказал рядовым показать полковнику лошадей.

Я посмотрел на штандарт, и кончик его древка, украшенный позолоченным листом, сверкнул молнией. Пока рядовые один за другим показывали сво-

их лошадей полковнику, называя каждую по имени, а тот внимательно осматривал снаряжение, я спросил адъютанта, почему штандарты опять стали брать с собой. Он сказал, что этот штандарт всегда с ними.

— Да, но все-таки большинство остались в штабах.

— Нет, — сказал он, — их уже привезли.

— И почему, — спросил я, — мы снова его носим?

— Чтобы солдаты видели то, чему они должны быть верны.

— Ладно, — продолжал я. — Все же почему?

— Потому что солдаты, — ответил он, — честно говоря, уже не очень надежны.

Я посмотрел на него с удивлением.

— Кто они?

— Поляки и русины.

— Кто-то уже дезертировал?

— Да.

Я уже слышал, что это стало происходить чаще, чем раньше. Тем временем смотр эскадрона продолжался. Я снова взглянул на штандарт. Он был маленький, квадрат из двух кусков парчи. Невозможно было разглядеть, что на нем вышито.

— А что это за ленты наверху? — спросил я.

— Просто ленты, — ответил он. — Посвящения полку от князей и так далее. На них вышиты девизы и изречения.

— А на самом штандарте?

— С одной стороны — двуглавый орел, с другой, думаю, Богоматерь.

— Штандарт, — сказал я, — должно быть, очень старый.

— Очень. Лет сто пятьдесят, если не больше.

Когда он это сказал, я внезапно почувствовал какой-то легкий укол в сердце. Этот клочок ткани взвивался над тысячами людей в момент их гибели в стольких битвах!

— Это кирасирский штандарт, — продолжил адъютант. — Изначально мы были кирасирским полком, а потом нас преобразовали в драгун. Штандартов кирасир когда-то в каждом полку было по десять, потом по три, наконец, только один. Они были квадратными, а гусарские и уланские — двухконечными в форме вымпела. Изначально у драгун были знамена. Поэтому наших прапорщиков, которые несут их, еще называют знаменосцами. Позднее штандарты носили унтер-офицеры. А теперь старейший прапорщик полка снова несет штандарт.

— Хайстер?

— Да. Он старше тебя. Возможно, потом тебе будет поручено носить штандарт.

— И все же? — спросил я, внезапно не зная, что еще сказать. — Когда марш? Скоро ли полк отправится...?

— Куда? — удивленно спросил он. — На фронт? Нет, пока нет. То есть, конечно, это произойдет. Но не сейчас. Приказ еще не поступал.

Я был удивлен, что он, похоже, не знал того, что уже знали унтер-офицеры других полков. Или, может быть, это было просто их ожидание. Что-то странное происходило в этих полках: рядовые теперь раньше офицеров знали, что должно было произойти. Возможно, они только догадывались, но в основном были

правы. Догадаться, что полки скоро выступят, было нетрудно. Они уже требовались на фронте. Тем не менее некоторые части не вводились неделями.

Я подумал, что все же смогу поехать в Белград этой ночью.

А пока смотр продолжался. Пару раз раздавался окрик, когда полковник при выборочной проверке обнаруживал, что солдаты уже съели что-то из припасов, или когда выяснялось, что кто-то взял с собой что-то совершенно ненужное, что он считал полезным, и перегрузил свой вещмешок. Люди тащили все, что находили: гнутые гвозди, пустые банки из-под сардин, старые подковы и тому подобное, и, если бы вы спросили их, в чем смысл нести все это с собой, они бы ответили: пригодится дома. Но полковник нарочито объявил, что рядовые не вернутся домой так скоро, а только после победного исхода кампании. Затем он угрожающе замолчал; рядовые пристально смотрели на него, как и положено, но было очень трудно сказать, что выражали их лица.

Я еще раз посмотрел на штандарт. Теперь он заинтересовал меня совсем иначе, чем раньше. Конечно, я видел штандарты, особенно много знамен пехоты, например, на плацу или в залах, стены которых были украшены трофеями. Несомненно, среди них могли быть и штандарты. Когда мы были детьми, вид этих крошащихся кусков старого шелка говорил нам только о том, где прошла шрапнель, в остальном в них было мало интересного. Но на этот штандарт — существующего полка, моего полка, я смотрел совсем другими глазами. Эта простая, славная грязно-белая

ткань, которой оказывали почести, олицетворяла кровавую славу, а теперь я и сам знал, что значит проливать кровь. Бесчисленное число людей, возможно, уже потеряли имущество, семью и жизнь, защищая этот штандарт и неся его к победе. Я посмотрел на руку Хайстера в перчатке, сжимавшую древко, и представил, что вижу многие другие руки в призрачных белых перчатках, держащие перед собой штандарт, руки, из которых древко выскользнуло, и руки тех, кто подхватил его, множество рук, державших этот символ чести.

Тем временем смотр подошел к концу, и пока Чарторыйский командовал садиться на коней, полковой трубач приложил к губам свою трубу, звук которой был приятнее и легче, чем у труб эскадронов. Сначала он дал простой одиночный сигнал, а затем сигнал «Вперед!». Я понял, что теперь к нам должен подойти эскадрон, обозначенный в полку номером один. И действительно, эскадрон, который я видел стоящим первым, двинулся к нам.

— Чарторыйский, — сказал полковник, — у вас уже есть два офицера в качестве командиров взводов, а Шюessler присоединится к вам завтра, не так ли?

— Так точно, — ответил Чарторыйский.

— Тогда передадим, — сказал полковник, — прапорщика, — он имел в виду меня, — в другой эскадрон.

После этих слов Чарторыйский двинулся прочь, а следующий эскадрон, по четыре всадника в шеренге, подошел к нам. Они вставали в линию лицом к полковнику. Но кого это я увидел издалека — высокую, худощавую фигуру, огромный кивер из меха опоссума со звездой — едущим впереди? Немецкий гусар Бот-

тенлаубен, встреченный мной вчера в ложе эрцгерцогини! Когда эскадрон закончил построение, мой знакомый скомандовал обнажить сабли — они вышли из ножен пучком сверкающих лучей и уперлись в бедра всадникам — затем дал команду «смирно», приблизился к полковнику, приветствовал всех своей большой, сильно изогнутой саблей и сообщил количество солдат в своем эскадроне.

Он очень хорошо управлялся с австрийскими солдатами. Я был крайне удивлен, увидев его здесь. Полковник приказал убрать сабли в ножны, Боттенлаубен повторил его команду солдатам, одновременно убирая свое оружие. Полковник пожал ему руку. В это же время Боттенлаубен заметил меня, улыбнулся и кивнул мне. Полковник был изумлен. Я поздоровался.

— Вы знаете прапорщика? — спросил он.

— По Белграду, — ответил Боттенлаубен и вновь улыбнулся.

— Ах да, — сказал полковник, не узнав обо мне ничего нового. Он приказал всем спешиться и показать ему каждую лошадь. Боттенлаубен отдал соответствующие команды. Я наклонился к адъютанту и спросил его, почему этот немецкий гусар здесь.

— Это, — ответил адъютант, — граф Отто Боттенлаубен из немецкого гусарского полка Гросенхайн. Откомандирован к нам по офицерскому обмену, мы послали к ним ротмистра барона Дьедонне. Это саксонский гвардейский полк. Граф с нами уже несколько недель, то есть сначала он добирался поездом и не успел прибыть на Украину: наш полк как раз отвели сюда. Ты знаешь его? Вчера он действительно был в

Белграде, эрцгерцогиня пригласила его в театр, потому что он из знатного рода, в родстве с императорами или что-то в этом роде, родственник нескольких королевских фамилий. Но он не только эlegantен, но и весьма умен.

Тем временем смотр продолжался. Полковник провел еще несколько выборочных проверок, но на этот раз убедился, что все в порядке, Боттенлаубен поблагодарил его за замечание о том, сколь тщательно он подготовил своих людей. Полковник, который вообще обращался к Боттенлаубену с уважением, еще раз его похвалил.

— У нас есть распоряжение, — прошептал мне адъютант, — всячески его поддерживать. Дьедонне написал нам, что граф очень популярен среди гусар.

— Конечно, — ответил я. — Но он еще и замечательный человек, этот Боттенлаубен, — добавил я рассеянно.

Я снова взглянул на штандарт, точнее на Хайстера, а еще точнее — на его спину и на древко штандарта. Почему-то его спина раздражала меня — наверное, потому, что все время была у меня перед глазами.

Ничего другого я видеть не мог, потому что Хайстер должен был держаться за спиной полковника. Тем не менее я заметил, сколь надменные манеры у этого прапорщика. То есть мне показалось, что его манера нести штандарт — надменная. Я сказал себе, что он мог бы носить его скромнее. В конце концов, он ничего не мог поделать с тем, что оказался самым старшим прапорщиком в полку. Но вел он себя так, словно только у него лично было исключительное право но-

силь шtандарт. Он ни с кем не разговаривал, и я напомнил себе, что ему так положено, но этот факт все равно меня раздражал. Еще мне не понравился жест, которым он прижал к себе древко, протягивая мне руку при знакомстве.

В общем, мне казалось, что штандарт ему не подходит, нести штандарт нужно с удовольствием, а не с надменностью. Было что-то нежное и прекрасное в том, как шевелились на легком ветерке складки его парчи, словно женское платье. А этот, думал я, носит знамя как палку, на которой что-то висит и которую он должен охранять. Однако потом я сказал себе, что сужу о нем несправедливо и что он несет штандарт так, как следует его нести, вот и все. Но как бы то ни было, я должен признать, что штандарт произвел на меня сильное впечатление. Мне стало интересно, думают ли так же другие солдаты. «Может, и нет, — сказал я себе. — Потому что в строю не только прапорщики, самый старший из которых должен нести штандарт...»

Даже погрузившись в эти мысли, я смог заметить, что не я один был озабочен теми же материями или чем-то подобным и даже говорил об этом. Потому что внезапно я услышал слово «штандартенфюрер». Это Боттенлаубен как раз говорил полковнику: поскольку он передал в штаб полка прапорщика графа Хайстера в качестве штандартенфюрера, то у него стало на одного офицера меньше, чем в других эскадронах, и он просил, чтобы меня назначили к нему. Полковник оглянулся на меня и сказал:

— Пожалуйста, граф Боттенлаубен! Забирайте к себе этого прапорщика.

Боттенлаубен махнул мне рукой, я подъехал к нему.

— Юнкер, принимайте первый взвод! — сказал он.

— Есть, господин ротмистр, — ответил я, отчасти еще поглощенный своими мыслями.

Я возглавил первый взвод, стоящий на правом фланге эскадрона, солдаты которого были уже в седлах. Вахмистр, стоявший перед строем, занял место позади взвода, а Антон и мой конюх рысью обогнули фланг и присоединились ко второму звену. Сразу после этого полковник отпустил Боттенлаубена. Тот скомандовал «направо», эскадрон повернул и тронулся, полковой трубач дал еще один сигнал, и подошел следующий эскадрон. Во время маневра первый взвод оставался впереди, поэтому я ехал во главе всех, а Боттенлаубен, попрощавшись с полковником, рысью скакал ко мне на своем длинноногом тракене. Поравнявшись со мной, он протянул мне руку в коричневой перчатке из наппы, какие обычно носили немецкие офицеры, и, улыбаясь, очень тепло пожал мою. При этом он наклонился ко мне, словно угрожающе нависшая башня, украшенная сверху мехом опоссума. В тот момент — да и позже, когда он был рядом — у меня возникло чувство, что все в порядке и что мы выиграем войну: такая уверенность исходила от этого большого человека, украшенного великолепными военными символами, которые мы почти все снимали — аксельбанты, гвардейская звезда, меховой кивер, медали. Он носил все это уверенно, без опаски даже в сложных ситуациях, как будто это было само собой разумеющимся и не могло причинить никаких неудобств. У него была

способность относиться к трудностям просто — так, как будто их не было. В его присутствии можно было себе представить, что если что-то пойдет не так, то двадцать тысяч гусар гвардейского полка Гросенхайн явятся на помощь и всех перемелют.

Он тряс мою руку, и я с удовлетворением отвечал ему, как будто все так и должно было случиться.

— Ну, юнкер, — сказал он, — вот мы и встретились! Вчера я отлично повеселился, слушая эрцгерцогиню, которая считает, что украинские полки все еще находятся на Украине, и когда майор, который вас остановил, подтвердил, что они все еще там. Эрцгерцогиня, когда она пригласила меня, понятия не имела, что я был с теми самыми полками, в которые она отправила вас. Но я им ничего не сказал. Я ожидал, что вы окажетесь где-нибудь здесь, юнкер, а не там, в Азии, и тем более рад, что вы теперь в моем эскадроне!

— Я тоже, граф Боттенлаубен, — сказал я. — Я очень этому рад. И должен поблагодарить вас за то, что вчера вы были так необычайно добры ко мне.

— А вы были весьма оригинальны, юнкер! — сказал он. — Чем-то вы мне сразу понравились. Но юная дама, которой я обязан вашим обществом, воистину прекрасна, и ведь она, не колеблясь, простила вам ваше нападение. Жаль, что вся эта идиллия продлилась недолго. Но ведь Белград не так уж далеко; и, может быть, мы еще увидим ее, эту фройляйн Ланг.

— Да, — сказал я, — возможно.

— Кстати, как долго вы добирались, юнкер? Я сам ехал в машине и по дороге пытался заснуть. Вы, должно быть, устали.

— Немного.

— После обеда я освобождаю вас от службы, вы сможете выспаться.

— О, спасибо большое!

— Главное, — заключил он, — что вы попали под мое крыло.

Затем он добавил еще одну фразу, смысл которой был в том, что мы «со всем справимся».

Тем временем вперед выступили офицеры других взводов. Это были обер-лейтенант фон Аншютц и лейтенант барон Кох. Аншютцу было около двадцати восьми или тридцати. Он был спокойным, симпатичным человеком из хорошей семьи с достатком: его жена, — они были женаты два или три года, — владела имением в Богемии, где разводили сахарную свеклу и был даже свой перерабатывающий завод. Боттенлаубен тоже был женат. Но о его жене мы узнали только, что она живет где-то в центральной Германии в лесном поместье и много гуляет. Аншютц однажды показал мне фотографию своего маленького ребенка. Дитя было очаровательное. Кох был из семьи государственных чиновников, не намного старше меня, говорили, что он прекрасно ладит с местными девушками.

Мы познакомились друг с другом, но поначалу наш разговор был коротким, так как эскадрон только что подошел к своим домам и был отдан приказ располагаться.

— Найдите себе квартиру, юнкер, — сказал Боттенлаубен, слезая с лошади. — Увидимся снова в половине первого.

Он помахал мне рукой и ушел.

С помощью Антона и конюха я приискал комнату на ферме, которая мне понравилась, да и конюшня рядом была отличная. Антон распаковал и разложил мои вещи. Он выглядел совершенно измученным. Ему было тяжело, он слез с лошади, тихонько застонав, но теперь он меня не ругал, как обычно, не винил во всем, а просто устал. Я велел ему поскорее поесть и лечь спать, сам немного привел себя в порядок, помылся и около половины одиннадцатого отправился в офицерскую столовую нашего эскадрона. Столовая, конечно, тоже помещалась в крестьянском доме. Боттенлаубен был уже там и встретил меня словами:

— Полковник вызывал меня к себе и хотел знать, почему вас на самом деле прислали сюда, юнкер. Мне пришлось рассказать ему всю историю. Он очень смеялся, хотя в остальном он довольно сварлив. Милый, но в целом довольно угрюмый человек! Думаю, у него большой желудок.

— Вот как? — сказал я. — Мне жаль. Я хотел бы спросить вас, граф Боттенлаубен, кое о чем в связи со вчерашней историей.

— Слушаю, юнкер.

— Разрешите мне съездить в Белград сегодня вечером. Лучше, если я скажу вам прямо, а не уйду тайно. Еще хочу попросить у вас пропуск на мосты через Дунай. Потому что мне абсолютно необходимо снова поговорить с фройляйн Ланг.

— Слушайте, юнкер! — воскликнул Боттенлаубен. — Вы не должны этого делать!

— Должен, граф Боттенлаубен! Ходят слухи, что мы скоро отправимся отсюда.

— Слухи?

— Да. Так что если я выеду вечером, то вернусь завтра утром, ведь мы, без сомнения, не выступим раньше завтрашнего дня. Я сменю лошадей и смогу вернуться сюда вовремя. Из-за меня у вас точно не будет проблем, граф Боттенлаубен.

— Они будут у вас, юнкер, потому что Ланг, если вы явитесь среди ночи, выгонит вас. Подумайте об этом!

— Нет, не выгонит. Граф, я знаю, что она будет ждать меня.

— Ланг?

— Ланг.

— У вас была возможность поговорить с ней?

— Да.

— Да? Когда же, молодой человек?

— Перед отъездом из Белграда.

— Эт-то мне нравится! — воскликнул он. — Как же вам удалось? Где вы с ней разговаривали?

— В Конаке. Она была так любезна, что приняла меня.

Мгновение он смотрел на меня, а затем сказал:

— Вот как? Она была так любезна?

— Да.

— Ну, тогда, — выдохнул он, — тогда вы, конечно, должны ехать, юнкер. Юную леди, особенно если она такая любезная, нельзя заставлять ждать.

— Вы очень добры, — сказал я. — В самом деле, очень добры! И вы никому не скажете?

— Нет, конечно же, нет. Но мне жаль, что вас не будет здесь вечером. Я хотел немножко отпраздновать ваше прибытие...

— Ох, — сказал я, — мы можем сделать это в другой раз, если вы не против.

— Вам, конечно, неважно, скучно нам здесь или нет, у вас лучшие планы. Но езжайте, ради Бога!

— Очень любезно с вашей стороны, граф.

— Конечно, очень любезно! По крайней мере, не угрожайте лошадям, туда и обратно путь неблизкий.

— Да. Я позабочусь о них, о лошадях.

— И горе вам, если не вернетесь завтра утром!

— Я вернусь!

— Что за дела с этим юнкером! — воскликнул он. — Все ему удастся! Видит девушку из хорошей семьи, заводит с ней знакомство и встречается с ней следующей ночью! Поразительно! Вот это эскадрон! Кох тоже мутит шашни со всеми барышнями здесь, в городке, а теперь и вы со своими любовными историями. Слава Богу, хоть Аншютц думает только о своей жене. Единственный, кто здесь безупречен, так это я. Потому что я думаю о жене только в самых экстренных случаях.

Казалось, он от души забавляется всем происходящим. Откровенно говоря, я ожидал чего-то подобного, иначе бы не признался ему, что уезжаю, а уехал бы тайно. Но Боттенлаубен был таким человеком, который мог позволить себе отпустить меня. Кроме того, думаю, он не слишком серьезно относился к этому австрийскому полку.

Кажется, он хотел добавить что-то еще, но не стал. Потому что вошли Кох и Аншютц.

5

За столом разговор шел совсем о других вещах, я рассказывал, кто я и откуда, и так далее. Обслуживали нас слуга Боттенлаубена и ординарцы. Слуга Боттенлаубена по имени Йохен, которого он привез с собой, был тюрингцем, гусаром из прежнего полка Боттенлаубена, а сам граф оказался вовсе не из Саксонии, а из Гессена. Йохен служил так скованно, стучал приборами, шпорами на сапогах и постоянно делал лишние угловатые движения. Я сказал, что мой слуга может помочь при сервировке, но сейчас спит, поскольку он уже пожилой человек. Он обслуживает медленнее, но это внесло бы определенное разнообразие в вечернюю трапезу. Я пообещал себе удовольствие от встречи Антона с этим гусаром.

Пока ординарцы не ушли, разговор вращался вокруг разных неважных тем, но после Аншютц какое-то время смотрел им вслед, а затем сказал:

— Вы знаете, господа, что мы попали в неловкое положение из-за той гусарской дивизии?

— Нет, — сказал Боттенлаубен. — Из-за какой гусарской дивизии?

— Из-за той, что в Эрменъеше.

— А что с ней?

— Ничего особенного. Это значит: если бы мы знали, что произойдет, то могли бы этого избежать.

— Чего именно?

— Сейчас уже известно, — сказал Аншютц, — что мы скоро уйдем отсюда, не так ли?

— Да, по слухам, мы действительно скоро уйдем. Но если мы отступим отсюда, то понятно, куда мы отправимся.

— Ну и куда?

— За Дунай. Балканский фронт практически уничтожен, и войска, которые перебросят через Дунай, должны будут создать новый фронт. Сейчас уже переводят несколько корпусов.

— Хорошо. И?

— Эти корпуса состоят из полков, набранных во всех частях империи, включая Венгрию. Вы знаете, что уже есть венгерское правительство?

— Нет. То есть да. В конце концов, отчего бы ему не быть! Почему вы спрашиваете?

— Я имею в виду сепаратистское венгерское правительство, а не часть австро-венгерского.

— Хорошо. Ну, и что это правительство?

— Вчера — но новость просочилась только сегодня — командование армии в Белграде отдало приказ гусарской дивизии в Эрменьеше выступить и переправиться через Дунай в Сербию.

— Ну и что?

— Гусары не пошли.

— Нет?

— Нет.

— Почему же?

— Они заявили, что они венгры, что венгерские войска больше не покинут страну, а останутся защищать земли священной венгерской короны.

Воцарилась тишина, но я не думаю, что Боттенлаубену было понятно значение этого известия. Кох, да и я, вероятно, тоже не полностью осознавали последствия того, что Аншютц сформулировал столь дипломатично. Мы смотрели друг на друга, и наконец Боттенлаубен спросил:

— Юнкер, вы знали что-нибудь о приказе командования армии?

— Я? Нет, — ответил я.

— Но вчера вы были в Белграде. Вы были на службе.

— Но я не успел приступить, и, даже если бы я уже выполнял свои обязанности, сомнительно, чтобы мне сообщили об этом приказе.

— Как это может быть? — сказал Боттенлаубен. — Вам же ничего доподлинно неизвестно. И если командование армии отдает приказ, ваши правительства могут его отозвать?

— Нет, — ответил Аншютц, — не совсем так.

— Так как же венгерское правительство могло это сделать?

— Всё не так. Гусары заявили, сами, еще до того, как приказ был передан в полки, что они не станут переходить Дунай. И они объяснили это тем, что переход через Дунай — это против воли их правительства.

Боттенлаубен нахмурился.

— Послушайте, — сказал он, — я не понимаю! Гусары просто сказали, что не пойдут?

— Да, — сказал Аншютц.

— Когда вы говорите «гусары», кого вы имеете в виду? Рядовые или офицеры?

— В первую очередь, рядовые. Офицеры просто к ним присоединились.

— Но позвольте мне, дорогой друг, — воскликнул Боттенлаубен, — кто же у вас командует — рядовые или офицеры?

— В нашем полку, — ответил Аншютц, — пока еще командуют офицеры. Однако у гусар, похоже, командуют рядовые, а офицеры присоединились к ним, потому что считают, что не могут ничего против них сделать.

— Позвольте, — воскликнул Боттенлаубен, — это за гранью моего понимания! Командование отдает приказ, рядовые не подчиняются, а офицеры присоединяются к рядовым?

— Нет, — сказал Аншютц, — все было не так. Если знаешь, что рядовые не подчинятся приказу, то лучше его и не отдавать.

— Но откуда можно знать, что рядовые не подчинятся приказам?

— Настроения среди рядовых известны. И, не отдавая приказ для марша из Эрменьеша, можно по крайней мере избежать конфуза. Так что формально пока еще ничего не произошло. Но даже если бы что-то произошло, то есть если бы гусары отказались выступить по уже отданному приказу, то они могли хотя бы создать видимость права на это, а именно сослаться на волю своего правительства, которое против того, чтобы венгерские войска покидали страну. А как быть с нами?

— С кем — с нами?

— С нашим полком и другими полками дивизии.

У нас здесь есть польские и русинские бригады, плюс выходцы из Верхней Силезии. В полку тосканских улан также есть поляки и русины. Германский Королевский полк почти полностью немецкоязычный, среди них совсем немного чехов, а драгунский полк Кейта почти чисто чешский. Если наша дивизия получит приказ перейти Дунай, наши рядовые могут последовать примеру гусар и заявить, что они тоже никуда не пойдут. Чехи скажут, что будут защищать только Богемию, поляки — Галицию, румыны — Буковину и так далее. Всем вместе будет очень непросто перейти Дунай.

Боттенлаубен безмолвно смотрел на него.

— Да, — вступил в разговор Кох, — рядовые не хотят идти за Дунай. Я знаком, — и он немного покраснел, — с несколькими девушками в деревне, с которыми я время от времени общаюсь, и они спрашивали, правда ли, что нам скоро придется уехать. Да, ответил я, к сожалению. То есть я сказал это только из вежливости по отношению к девушкам — «к сожалению». Но рядовые, сказали девушки, с вами не поедут. Я спросил их, почему нет. Потому что, по словам девушек, рядовые больше не хотят отправляться за Дунай. Говорят, что в Сербии французы всех возьмут в плен.

После этого куртуазного откровения он, смутившись, закурил сигарету.

— Да, — сказал я, — сегодня утром, когда я проезжал полк тосканских улан, я разговаривал с капралом, который вел себя так необычно, что мне пришлось накричать на него. А потом наш адъютант сказал мне, что

и здесь были всякие эксцессы — дезертирство и тому подобное. Если отказались повиноваться гусары, то и наши рядовые вполне могут перестать подчиняться.

Пока мы обсуждали сложившееся положение, Боттенлаубен переводил взгляд с одного на другого и внезапно ударил кулаком по столу:

— Нет, я не хочу больше этого слышать! Вы все с ума сошли! Рядовые не перейдут Дунай! Приказ получили, но не пойдут! Что у вас с дисциплиной?! Приказ еще только ожидается, а вы сидите и обсуждаете, выполнят они его или нет! Это действительно возможно только здесь! Хотел бы я посмотреть, осмелится ли кто-нибудь из наших парней даже мечтать о том, чтобы не подчиниться приказу! Это было бы... Это было бы... Что ж!

Он откинулся назад в кресле и, скрестив ноги, уставился в потолок. Долгое время никто из нас не произносил ни слова, затем Аншютц спокойно сказал:

— Граф Боттенлаубен, вы не можете понять. Вы здесь не в своей армии, а в нашей. У вас, если не считать нескольких исчезающих меньшинств, одни только немцы. А у нас кроме нескольких немецких полков есть венгерский, чешский, польский, итальянский, хорватский и черт знает какие еще. Тем не менее наша армия благодаря своим офицерам всегда была знаменитой, великой армией. Были времена, когда она была первой армией Европы, и сотни офицеров с вашей родины, граф Боттенлаубен, приезжали, чтобы служить вместе с нами. Потому что слава этой армии была оправдана. Ее репутация была создана и умножена силами многих народов. Часто солдатам приходилось

сражаться против народов, представители которых были в наших собственных рядах. Тем не менее армия никогда не подводила. Но то время прошло. Если для немцев ощущать себя единой нацией — честь и долг, то вам должно быть понятно, что другие народы тоже начинают ощущать себя нациями. Мы сохраняли эту армию, эту империю вместе столько, сколько могли. Не стоит этого недооценивать. Мы такие же немцы, как и вы, граф Боттенлаубен, мы объединили вокруг себя нашей волей, нашей честью, нашей кровью группу народов, несравненно большую, чем мы сами. Мы дали им все, что могли. Это долг немцев. Мы сделали их взрослыми. Теперь они уходят от нас. Это право этих народов. Как немцы, мы свою миссию выполнили. Но, как солдаты, как офицеры, мы знаем, что будем верны нашему долгу до конца.

Боттенлаубен, который больше не смотрел возмущенно в потолок, поглядел на Аншютца, затем опустил взгляд и сказал:

— Конечно, дорогой друг, конечно! Я ни на секунду не сомневался, что вы знаете, что делать. Я просто не хочу, чтобы вы видели наших солдат в черном свете. Мне кажется, вы слишком пессимистичны, поймите меня правильно! Мы, немцы, оптимисты.

— А мы, австрийцы, нет, — сказал Аншютц. — Мы долго накапливали свой опыт, и события, которые могут произойти, должны быть в центре нашего внимания. В определенном смысле мы, так сказать, европейская колониальная империя, и на протяжении столетия мы учились понимать, чего нам следует ожидать от наших так называемых колоний. Я опре-

деленно не ошибаюсь в настроениях рядовых. Нить истории натянулась, война длится слишком долго для наших польских и русинских крестьян. Им не интересно снова завоевывать Сербию. Удивительно, что их сердца были с нами так долго. Они не немцы, которые знают, что наша судьба и судьба Германии связаны с судьбой мира. У них на уме только их собственные галицийские поля и домики. Империя для них больше ничего не значит. Не идея, а клятва связывает их с нами. Они не нарушат клятву, или мы заплатим за это своими жизнями.

— Конечно, — сказал Боттенлаубен, — и я прошу рассчитывать на меня, как если бы я был одним из вас. Не будем больше портить себе настроение такими мыслями.

Похоже, он почувствовал, что его слова причинили нам боль и что эти проблемы совсем не так просто решить, как ему бы хотелось.

— Мы не станем предполагать, — продолжил он, — что кто-либо может пренебречь своим долгом, пока не будет доказано обратное. Пусть же этого не случится! — Он встал. — И давайте больше не будем об этом. Отправим нашего юнкера спать. Он устал, ехал полностью. Барон Кох, сейчас вы отвечаете за строевую подготовку. Будьте готовы, что я позже приду и посмотрю, не будете ли вы снова заниматься девушками вместо рядовых.

Мы отвлеклись от тяжелой темы. Боттенлаубен глянул на нас, выдавил из себя улыбку, поднял палец вверх и сказал, как было принято в нашей армии в старые времена, а он выучил, пока служил с нами:

— Сервиторе!¹

С этими словами он нас отпустил, и при этом приветствии времен Радецкого мы тоже улыбнулись.

Я проспал полуодетым до шести часов, сперва очень крепко, но потом сон стал беспокойным. Снизлась поездка в Белград: я приехал, а Реза отказалась меня видеть. Я бродил по коридорам Конака, меня останавливали люди, спрашивали, что я тут делаю, я спорил с ними и сильно нервничал. Я поднял руку, как будто хотел ударить кого-то из них, но вдруг понял, что держу штандарт, держу высоко, а множество рук пытаются его вырвать, они вцепились мне в руку, и тут я проснулся.

Это Антон тряс мою кисть, чтобы разбудить. Я никак не мог стряхнуть с себя сон. Но Антон, не считаясь с этим, сразу завел одну из своих пространных речей. Наверное, он разбудил меня, чтобы ее произнести.

— Господин прапорщик, — начал он, — я знаю!

— Что? — спросил я, совершенно сбитый с толку, и моргнул от света зажженной им свечи. — Что ты знаешь?

— Все! Граф рассказал полковнику, а тот обер-лейтенанту — как бишь его зовут? Кляйн? — а вахмистр в соседнем кабинете полка слышал все и рассказал дежурному. Тот — слуге графа — как бишь зовут этого слугу? А он спросил у меня, правда ли это. Я был в ужасе!

— Почему? — спросил я, убирая волосы со лба.

— Почему?! — воскликнул он.

— Да, почему? Почему ты так распереживался?

¹ К вашим услугам (*устар. итал. servitore*).

— Правда ли, господин прапорщик, что господин прапорщика перевели сюда, потому что господин прапорщик домогался девушки прошлым вечером в театре?

— Черт побери! — воскликнул я и в гневе сел в постели. — Что ты себе позволяешь?!

— Да, позволяю! — причитал он. — Я сразу подумал, что должно было случиться что-то вроде того, предчувствие говорило мне: будь осторожен, он обязательно во что-нибудь влипнет с какой-нибудь молодой дамой.

— Молчать! — закричал я.

Но он не хотел молчать.

— Когда я вспоминаю, — сетовал он, — как ты, прапорщик, сидел у меня на коленях, ты был невинен, как ангел, и играл в игрушки, и у тебя в голове не было ни девиц, ни их опочивален! Но времена меняются, и маленькие дети становятся бабниками.

— А офицерские слуги, — загремел я, — становятся старыми ослиами, вот что происходит с офицерскими слугами, и если скажешь еще хоть слово, отправишься куда подальше, понял? Вон! Немедленно! И пришли мне сюда Георга! Марш!

Георгом звали нашего конюха. Антон постоял мгновение в полной оторопи, затем пошел прочь. Когда он уже был на улице, я рассмеялся. Он, несомненно, желал мне добра, даже когда упрекал меня в непристойности. А еще ему не хватало внимания.

Тем временем появился Георг: он ждал меня; вероятно, он слышал нашу ругань из конюшни.

— Лошади отдохнули? — спросил я.

— Так точно, господин прапорщик, — сказал он. — Вам тоже удалось поспать.

— Тогда иди пей кофе, — приказал я, — затем седлай Мазепу без поклажи, а саблю пристегни к седлу. И тоже собирайся, без оружия, но оденься потеплее. Поедешь на Мазепе, спокойным шагом — той же дорогой, как мы приехали сюда вчера ночью, и будешь ждать меня у моста через Дунай, но на этом берегу. Повтори!

Он повторил распоряжение довольно точно. Поднявшись, я вложил ему в руку мои шпоры и велел ему пристегнуть их.

— Будешь ждать у моста ниже по течению, — сказал я, — а не у того, который мы переходили выше. Все равно без пропуска тебя не пропустят. Сейчас почти половина седьмого. Если уедешь в семь, то будешь там примерно к половине первого. Я тоже должен быть там около часа ночи. Едешь шагом, понял? Но, если почувствуешь, что не успеваешь, можешь немного ускориться под конец. Ты никому не должен говорить, что уезжаешь, куда едешь, и что я поеду за тобой. А теперь пришли мне Антона.

Он ушел, и вскоре снова появился Антон, смертельно обиженный.

— Вот тебе мои распоряжения, Антон, — сказал я, заканчивая одеваться. — Первое: не делай такое обиженное лицо. Второе...

— Господину прапорщику легко отдавать распоряжения, — перебил он меня. — Господину прапорщику тоже не нужно обижаться!

— Тихо! — сказал я. — Тебе не следует вмешиваться в личные дела своего господина.

— Господин прапорщик не понимает, насколько опасно иногда связываться с особами другого пола!

— Прекрати! — воскликнул я, изо всех сил стараясь не рассмеяться. — Во-первых, ты должен быть разумным. Во-вторых, сегодня вечером ты подаешь ужин.

— Я?

— Да, ты. В столовой эскадрона. Я уже сказал офицерам, как хорошо ты умеешь прислуживать и что ты на самом деле слуга; и они с нетерпением ждут твоего общества.

Через мгновение, в течение которого Антон оставался неподвижным, он откашлялся, прижимая руку в перчатке ко рту. Было похоже, что ему польстили мои слова. Но он не хотел это показывать, так как был слишком обижен на меня раньше.

— Там будут, — сказал я, — слуга графа Боттенлаубена и ординарец. Ты отошлешь ординарца, но проинструктируешь слугу, как убедиться, что все сделано хорошо. Иди поскорее, чтобы подготовить его надлежащим образом. Чтобы все получилось и вы меня не опозорили!

— Господин прапорщик, — ответил он, — может быть очень спокоен. Я, — он указал на себя, — определенно не опозорю господина прапорщика, — он указал на меня.

— Когда трапеза закончится, а это будет без четверти девять, ты вернешься сюда и оседлаешь Гонведгусара.

Он посмотрел на меня.

— Я, — спросил он, — должен оседлать Гонведгусара?

— Да, — сказал я, — ты, собственноручно. Георга в это время не будет.

— Нет?

— Нет.

— Зачем мне седлать лошадь?

— Потому что я уезжаю.

— Господин прапорщик уезжает? — спросил он.

— Да.

— Ночью?

— Ночью.

— Куда?

— Антон, — сказал я, — отвыкни уже задавать столько вопросов. Во-первых, это не по-военному, во-вторых, это неприлично, в-третьих, я уезжаю. Вот и все!

— Итак, господин прапорщик снова хочет уехать посреди ночи. Господин прапорщик уезжал прошлой ночью, теперь он будет уезжать каждую ночь?

— Может быть, — сказал я. — Может.

— Господин прапорщик, — воскликнул он, — едет обратно в Белград, откуда его выслали! Неужели господин прапорщик не может выдержать ни одной ночи без дамы?

— Молчать! — приказал я. — Это не твое дело!

— И на что вы будете похожи, — кипятился он, — если будете так кататься по ночам! А лошади! На кого будут похожи они?! И что будет делать господин прапорщик, если господина прапорщика поймают?

— Отставить разговоры! — отрезал я. — Я вернусь завтра утром! А ты сейчас пойдешь в офицерскую столовую, все приготовишь, обслужишь, вернешься и оседлаешь лошадь. Саблю тоже пристегни! И не дай

Бог, что-то будет не в порядке или ты кому-то расскажешь об этом. Я тебя на куски разорву!

С этими словами я накинул на плечи шинель, надел фуражку, вышел и захлопнул за собой дверь.

В коридоре меня разобрал смех, я закурил и вошел в конюшню. На скамейке в проходе я увидел чашку с черным кофе и хлеб. Георг собирался седлать Мазепу. Две другие лошади лежали на подстилке. Нет ничего более сокровенного и трогательного, чем лежащие лошади, они как дети. Теплый воздух наполнял маленькую конюшню. Я подошел к Мазепе и похлопал его по шее. Мне было жаль, что приходилось так гонять лошадей.

— Ну, — сказал я Георгу, — это хорошая конюшня!

— Да, господин прапорщик, — ответил он.

— А в остальном ты удовлетворен?

— Да.

— Я имею в виду, ты говорил с кем-нибудь из эскадрона?

— Днем, — сказал он, — я немного поспал, а затем поболтал с некоторыми.

— Ну, и что они говорят?

— Ничего.

— Ничего?

— Ничего особенного.

— Они не говорили, что мы скоро выступаем?

— Говорили.

— И что еще говорили?

— Больше ничего.

Я пристально смотрел на него. Но он был спокоен, и у меня создалось впечатление, что он ничего от меня

не скрывает. Если рядовые действительно что-то обсуждали между собой, они не доверяли ему или пока еще не доверяли. Кроме того, он был силезцем, только что прибывшим, и конюхом, так что рядовые не топились обсуждать с ним вещи, не предназначенные для ушей офицеров.

— Хорошо, — сказал я. — Вот тебе сигареты. Приготовься и не задерживайся.

Я вышел наружу, луна уже поднялась и освещала деревенскую улицу. Луна была почти полная. В нескольких домах горел свет. Рядовые, гремя солдатскими котелками, прошли мимо и поприветствовали меня. Песчаный грунт заглушал их шаги. Я бродил взад-вперед по улице, потом остановился перед освещенными окнами и заглянул внутрь. Шторы были не задернуты. Я видел нескольких рядовых и крестьянскую семью, в других окнах — снова крестьян и солдат. Я увидел Аншютца, сидящего за столом в своей комнате, он писал письмо. Позже я заглянул в окно столовой нашего эскадрона. Антон был уже там и обсуждал что-то с Йохеном. Он жестикулировал, очевидно демонстрируя некие тонкости подачи. Вскоре после этого я увидел Георга, который проехал по улице на Мазепе, после чего я стал рассеянно наблюдать за жизнью другого эскадрона. Я увидел Чарторыйского в его квартире с двумя офицерами и еще одним, неизвестным мне господином, сидящих за накрытым скатертью столом и играющих в бридж. В другом доме тоже были и солдаты, и крестьяне. Они болтали, кто-то играл на губной гармошке, и под нее танцевали две-три пары — драгуны с крестьянскими девушками. Ме-

лодия мне понравилась, но навевала тоску. Повсюду витал легкий запах дыма, он шел с крыш и смешивался с серебряным дыханием лунной ночи.

Я ненадолго остановился у кухни, где рядовые варили кофе. Здесь тоже пахло дымом, людьми и кофе. Я прошел в следующий эскадрон и, наконец, к пулеметчикам. Дальше начинались квартиры улан. В полку было три эскадрона вместо шести и один пулеметный.

Я остановился посреди улицы. Несколько секунд спустя я понял, что думаю о чем-то, даже не зная о чем. Должно быть, о том, что ишу здесь.

Ведь я что-то искал, не зная, что делаю.

Я искал штандарт.

Я вышел из своей квартиры, полагая, что хочу просто пройтись, и не осознавал, что на самом деле у меня было другое, вполне определенное намерение; но чем дальше я шел, тем понятнее мне становилось, что я не могу найти что-то, сам еще не зная что. Наконец, я понял, что с самого начала хотел увидеть штандарт.

И почувствовал, что все еще не хочу признаваться в этом самому себе. Мне хотелось поскорее выбросить эту мысль из головы, но было уже поздно, теперь я знал, что ишу.

Я вдруг почувствовал себя так, будто поймал себя на чем-то постыдном. Именно из-за этого меня не отпускало странное, сбивающее с толку раздражение, которое я чувствовал все время и из-за чего мне стало стыдно, когда я осознал это. Ощущение длилось всего пару секунд: увидеть сон, понять, что это сон, и проснуться.

Действительно, у меня вдруг возникло ощущение, что я сплю. Я поднял глаза, огляделся, затем

развернулся на каблуках кругом. Улица, по которой я только что шел, была пуста, бряцание котелков смолкло. Я выбросил сигарету, которую держал в руке, закурил новую и пошел обратно. Я спрашивал себя, что со мной случилось, почему я брожу по улице и тайком ищу штандарт вместо того, чтобы выйти из дома и просто спросить: «Где он? Я хочу его увидеть».

Но почему я хотел его увидеть, мне было непонятно. Может, мне это приснилось. Однако в то же время я не понимал, почему мне нельзя взглянуть на штандарт. Почему солдат не может испытывать интерес к штандарту?! Но где он в самом деле? С Хайстером, в его квартире или с полковником в штабе полка, стоит перед домом или несет службу, ждет, что что-то случится? Во всяком случае, я никак не мог его найти. Но теперь мне уже расхотелось смотреть на него, или все же хотелось, но я отговаривал сам себя. Было странно думать, что я зашел так далеко в этих своих мыслях.

Я медленно пошел назад и, проходя мимо домов, снова смотрел в окна, где солдаты уже снимали сапоги, ложась спать, после чего задумчиво поглядел себе под ноги. Меня не интересовало, что делают солдаты, мне захотелось подняться на самую вершину городка. Подойдя к столовой нашего эскадрона, я увидел в окно, что Боттенлаубен, Аншютц и Кох уже там. Это меня удивило, ужинать было определенно рано, так что, возможно, случилось что-то непредвиденное. Я быстро шагнул в коридор и открыл дверь в комнату, где находились они все.

— Где ты так долго был, юнкер? — спросил Боттенлаубен.

— Господин ротмистр? — сказал я.

— Уже четверть девятого.

— Четверть девятого? — удивленно воскликнул я.

— Конечно.

— Но ведь только что было семь!

— Уже восемь прошло! Вы проспали?

— Я? Нет, я пошел пройтись... до восьми.

— Ну, у вас получилось, даже более того. Давайте приступим к еде, я бы хотел потом поехать с вами в другие эскадроны, познакомиться с господами, которых вы не знаете.

Я посмотрел на Боттенлаубена, затем сбросил шинель и сказал:

— Мне неловко за опоздание, но я готов поклясться, что встал не позже половины седьмого. Не понимаю, как такое могло случиться.

С этими словами я сел, в некотором замешательстве, потому что действительно не понимал, как я мог так ошибиться со временем. Может быть, Антон разбудил меня позже, а может, его часы пошли не так, но ведь на него всегда можно было положиться. Я отвлекся от этих мыслей, когда он и Йохен вошли и началась церемония сервировки.

Антон надел на Йохена пару собственных белых перчаток — и, должно быть, успел потренировать его. В результате Йохен, который прежде был каким-то угловатым, прислуживал теперь гораздо лучше. Он находился под таким давлением Антона, что просто не мог прислуживать плохо. Казалось, он

разучился двигаться как обычно и сейчас делал это по-змеиному, что выглядело чрезвычайно странно. Но порой его природная скованность вновь давала о себе знать, и он опять так стучал шпорами, что Антон нервно подскакивал на месте. Это была забавная картина. В целом, Антон все еще выглядел весьма озабоченным мыслями о моей намеченной ночной вылазке. Он даже не смотрел на меня, а вел себя как отец, который на службе и вынужден улыбаться, хотя его единственная дочь опростоволосилась. Желая сбить его с толку, Боттенлаубен постоянно спрашивал, что приготовил Йохен.

Так продолжалось примерно до девяти. Ничего существенного сказано не было, потому что присутствовали слуги. Тогда Боттенлаубен встал и сказал, что мы попьем кофе в другом месте. Нам пора. Аншютц и Кох должны были пойти к пулеметчикам и ждать нас там, а он вместе со мной пойдет к полковнику, в другие эскадроны, а затем придет к ним.

Все встали, я грозно посмотрел на Антона, и он ушел.

Мы с Боттенлаубеном прошли к полковнику, но штандарта я там не увидел. Мы посидели несколько минут, нас просили остаться подольше, но Боттенлаубен сказал, что мы останемся в другой раз, а пока меня нужно познакомить со всеми офицерами. То же повторилось в двух других эскадронах, наконец мы подошли к пулеметчикам, там тоже побыли несколько минут, после чего Боттенлаубен сказал мне:

- Юнкер, теперь тебе нужно пойти к полковнику.
- Разве вы там не были? — спросил Аншютц.

— Нет, — сказал Боттенлаубен. — К тому же юнкер пойдет один. Так что, — он повернулся ко мне, — возьмите с собой эту записку, я забыл передать ее полковнику.

С этими словами он протянул мне лист бумаги, я быстро развернул его и глянул текст. Это был пропуск. Я благодарно улыбнулся Боттенлаубену и откланялся. Он помахал мне вслед.

Было уже десять часов. Я быстро дошел до своей квартиры, вошел в конюшню. Антон уже оседлал Гонведгусара.

— Что ж, — сказал я. — Сегодня ты очень хорошо служил. Офицеры тебя хвалят. Это было истинное удовольствие.

— Господин прапорщик, — сказал Антон, — я больше ничего не говорю!

— Именно это я и хотел тебе предложить.

— Господин прапорщик, — ответил он, — больше вместе с этим гусаром я прислуживать не буду. Хотя тащите меня всем эскадроном.

— Выводи лошадь, — сказал я, кивая на Гонведгусара, — во двор. А потом принеси мой пистолет.

Он развернул лошадь и повел ее во двор. Пока я отпускал ремни стремян и садился в седло, Антон принес пистолет. Он подал его мне, и, пока я пристегивал оружие, он тихо напевал что-то себе под нос. Я думаю, что он проклинал всех баб, к которым когда-либо таскались мужчины. Я взял поводья, махнул ему и выехал через ворота. На песке деревенской улицы стук копыт сразу затих.

6

Выехав из деревни, я перешел на галоп. Гонведгусар был мерином с сильными плечами и хорошей холкой, венгерско-галицийских кровей, происходил от степных лошадей, скрещенных с арабскими скакунами. Он был лисом, а другая лошадь, Фаза — лисой. У Гонведгусара была красивая арабская шея, а у Фазы шея оленя. Она сейчас лежала на соломе и спала, а ему приходилось нестись галопом. Он летел вперед, не прилагая особых усилий, но, конечно, его нельзя было сравнивать с Мазепой. У Гонведгусара не было того превосходного стиля охотничьего коня, и я предвидел, что к тому времени, как мы достигнем Дуная, он будет совершенно измотан.

Луна, которая была уже высоко, почти в зените, освещала нас спереди слева, но после Эрменьеша, где дорога поворачивала строго на юг, она светила нам прямо в лицо. Эрменьеш лежал неподвижно и сонно, в домах гусарам, вероятно, снилось, что они переходят Дунай, хотя они того и не хотели. Во сне они по-прежнему подчинялись приказам, но не тогда, когда бодрствовали.

Я скакал, держа вожжи в сцепленных руках, гадая, что будет дальше. Луна сияла на пряжках и на груднике Гонведгусара, я видел ее на своих перчат-

ках и думал, сколько всадников ехали вот так, освещенные луной, — вестовые с приказами, разведчики, патрули, эскадроны, полки. Они скакали так сотни лет, с тех пор возникла империя, священная империя, они скакали по приказу императоров — в кирасах, колетах, в шубах, в шапках, в серой современной форме, и никто из них даже не помышлял о том, чтобы не подчиниться приказу. Но теперь об этом думали все. В прошлом, наверное, солдат дезертировал, потому что хотел вернуться домой, к возлюбленной — ему не казалось, что он заплатит за это дорогую цену — или к родителям; а потом народы слагали о них меланхолические, красивые песни, какие может сочинить только народ. Но никто никогда не сопротивлялся прямому приказу. Ни одна рота, полк или армия не отказывались подчиняться. Но теперь все они могли отказаться, даже если поклялись: «Клянемся перед Всемогущим Богом священной клятвой, что будем верно и преданно служить Его Величеству, нашему Наисветлейшему Князю и Господину...» Как стало возможно, что за годы, что существует армия, не потерпев ни одного поражения, они вдруг начали сопротивляться? Что же произошло, что мир так изменился? А он изменился. Он все еще выглядел по-прежнему — поля, дома, небо, луна были те же, но что-то изменилось; видимое, вероятно, осталось прежним, но невидимое стало совершенно иным. Потому что внутри людей старый мир преобразился, растворился, исчез. И ты это почувствовал, будучи всего лишь польским крестьянином, ничего не видевшим в этом мире.

Наступал конец света. Как часто мир подходит к концу, и невероятно, что он все еще существует!

Я подумал о том, что будет делать Хайстер, если понесет штандарт, а солдаты за ним не последуют. Как и неподчинение приказам, исполнявшимся на протяжении многих поколений, столь же непостижимо было то, что полк мог не последовать за этой священной парчой, за которой ранее следовали тысячи. Это было почти так же немыслимо, как если бы земля, единственное прочное основание под нашими ногами, стала бы зыбкой, как вечно колеблющийся воздух. Иногда Бог заставляет землю сотрясаться и опрокидывать дворцы и церкви, которые люди строили во имя его веками. Иногда люди сами сносят здания, построенные за поколения до них, и разрушают их, как будто они ничего не стоят. Иногда люди внезапно теряют чувство ценности вещей. Чтобы согреть руки, они сжигают королевские дворцы, и только те, кто бежит от горящих кроватей, понимают, что на самом деле горит. Но люди для себя самих важнее того, что происходит вокруг. Поэтому мы, офицеры, и рядовые не понимали друг друга. Чтобы снова увидеть свои польские деревни, они разрушали империю.

Кто был виноват? Они, учителя сельских школ, политики, которые их науськивали, или мы сами? Конечно, мы тоже. Возможно, мы больше не верили в империю так, как должны были верить. Мы требовали для себя уважения, но не дали солдатам той веры, которую они должны были иметь, чтобы идти за нами. Уже случились мятежи в чешских и других

полках, а офицеры и унтер-офицеры, вместо того чтобы позволить себя растерзать, уступали и шли на компромиссы. И вот наступили последствия. Теперь мятежи повсюду.

Я все еще скакал галопом. Гонведгусар полностью покрылся потом и пеной. Я пустил его шагом, а через несколько минут остановился, спешился и переседлал лошадь.

Было уже около полуночи. Дунай не мог быть далеко; я вспрыгнул на лошадь и поскакал дальше. Наконец мы вступили на бревенчатую дорогу. Вдали призрачным лунным замком плыла над Белградом крепость.

Я снова перешел на шаг. Теперь Дунай сиял, как острая коса; мы подъехали к входу на мост. Там стоял постовой, а рядом мой конюх ждал меня с Мазепой. Георг сказал, что тоже добрался совсем недавно. Часа полтора назад он заметил, что уже слишком поздно, и потому под конец шел рысью.

— Сколько времени? — спросил я у постового унтер-офицера.

— Скоро час, — сказал он.

Я недооценил расстояние. Я сказал Георгу снова садиться на коня, после чего, когда я показал свой пропуск, мы вступили на мост. Под нами, как серебряная лава, лилась река.

Посреди моста я на секунду остановился у странного сооружения, которое не заметил прошлой ночью. Но теперь, в ярком свете луны, я ясно увидел конструкцию, похожую одновременно на кран и на виселицу. Я не мог понять, в чем ее назначение. На другом

конце моста я спросил у унтер-офицера, что это. Он полагал, что эта конструкция помогает убирать часть понтонов: по реке должны проходить суда, особенно военные, а затем понтоны вернут на место.

Мы снова поторопились и въехали в город. В некоторых окнах все еще горел свет. Слышалась музыка из кофейни. На углу улицы стояла группа людей, они громко смеялись. Сверкало золото портупей и женские украшения. Мы заметили маленькие беззвучные тени, проносившиеся то тут, то там — бездомных собак, которые прибегали в город ночью из деревень в поисках чего-нибудь поесть. Подъехав к Конаку сзади, мы спешили в одном из переулков.

— Жди здесь, — приказал я Георгу.

Затем я вышел на площадь перед Конаком и направился ко входу. Я снова показал охраннику свое предписание, которое так и не отдал. Вызвали дежурного унтер-офицера, и тот ознакомился с документом. Но на этот раз изучение документа было недолгим, он был возвращен мне со словами, что это не пропуск, а направление в Караншебеш. Этот унтер-офицер умел читать по-немецки. Я показал ему пропуск. Унтер-офицер сказал, что пропуск относится к мостам через Дунай, но не к Конаку.

— Он относится, — сказал я, — и к Конаку тоже. Мне разрешено переходить мосты через Дунай только потому, что я должен прибыть в Конак.

— Этого, — сказал унтер-офицер, — здесь не указано.

— Указано или нет, — сказал я, — я должен войти в Конак.

Унтер-офицер, сказал, что не сомневается в моих словах, но пропустит меня только в том случае, если я покажу соответствующий пропуск.

— Эй, — сказал я, — не создавайте проблем. У вас будут неприятности, если вы сейчас же меня не пропустите!

Но он ответил, что у него, вероятно, будет больше неприятностей, если он пропустит меня без пропуска. Короче говоря, вышла довольно оживленная дискуссия, которая закончилась, лишь когда внезапно появился лакей. Ожидая меня во дворе, он услышал спор и догадался, в чем дело. Он появился, сверкая всеми своими золотыми галунами, чтобы вытащить меня из переделки.

— Послушайте, — сказал он, — вы можете пропустить господина прапорщика! Его ждут!

— Ждут? — переспросил унтер-офицер.

— Да.

— Кто?

— Ее Императорское Высочество.

— Ее Императорское Высочество?

— Так точно. Вы должны понимать, что даже намек на это нельзя прописать в пропуске. Вы понимаете это, молодой человек? Или нет?

Я не знал, на какие секретные мероприятия государственной важности, в которых мне надлежало участвовать, или на какие встречи в самых высших кругах намекает лакей. Но его тон произвел впечатление на унтер-офицера.

— О, — сказал он, отступая. — Я этого не знал. Откуда я должен это знать?

— В любом случае, — сказал лакей, — теперь вы знаете. Потому что иначе я бы не ожидал здесь этого прапорщика.

— Так точно, — сказал унтер-офицер, а затем добавил, — проходите!

Охрана пропустила меня.

— Очень хорошо, — похвалил я унтер-офицера, проходя мимо него и похлопав по плечу, — вы очень хорошо справляетесь. И впредь просто строго выполняйте полученные приказы. Вы задержали меня совершенно правильно, пока не узнали, что к чему. Ну, а как вообще настроение в вашем полку?

Секунду-другую он колебался, затем сказал:

— Все хорошо, господин прапорщик.

— Не сомневаюсь, — сказал я, — что дисциплина в нем может быть только хорошей, если все унтер-офицеры такие, как вы.

С этими словами я с ним расстался. У меня было плохое предчувствие. Я вдруг осознал, что совершил одно из тех нарушений, собрав которые вместе, даже без подробностей, можно было подорвать свою репутацию в глазах товарищей. Нельзя так легкомысленно относиться к себе, тем более в столь критических ситуациях. В ситуациях попроще вредишь только себе, в критических — и другим тоже. Но у меня не было времени думать об этом дальше. Когда дело доходит до обвинений самого себя, времени всегда не хватает. Мы никогда не хотим ни в чем быть виноватыми, мы всегда виним обстоятельства. Но на самом деле обстоятельства не бывают виноваты, виноваты всегда только мы сами.

Лакей прошел со мной по двору, а затем тем же путем, которым мы шли прошлой ночью. В залах, в тронном зале, как и накануне, царил полумрак, пронизанный кое-где лунным светом. Но настроение изменилось. Вчера Конак был для меня дворцом, в котором жили эрцгерцогиня, несколько генералов и девушка, и я был влюблен в эту девушку. Сегодня я понимал, что иду по дворцу королей Сербии. Их выселили, но, в конце концов, этот дом оставался их домом. Они могли сюда вернуться, и это ощущение витало в воздухе. Все было намного более странно, чем накануне. Убийство королевской семьи, о котором десять с небольшим лет назад в мире было так много разговоров, могло происходить именно здесь, в этих комнатах. Или это случилось в другом дворце? Я не знал. На какой-то миг мне показалось невероятным, что здесь скоро откроется дверь, за которой меня ждет возлюбленная.

Но дверь открылась, и в маленькой гостиной я увидел Резу, на этот раз одну, сидящую на диване, на котором вчера сидела Мордакс. Реза листала книгу и курила сигарету. Когда я вошел, она отложила книгу и посмотрела на меня. Я подошел к ней, взял за руки и притянул к себе. Затем я поцеловал ее в губы, и она позволила этому случиться. Она медленно подняла руки и обняла меня за шею. Ее глаза были закрыты, я очень внимательно смотрел ей в лицо, на опущенные веки: ресницы ее вздрагивали, как крылья бабочки, покоящейся на цветке. Между бровей у нее пролегла морщинка, которая вскоре разгладилась, потом глаза вновь медленно открылись, у них был фиолетовый отблеск — фиалки, на которых отдыхают бабочки, хотя

на фиалках обычно совсем не бывает бабочек. Хотя можно представить себе такое, когда мечтаешь о лете. Но глаза открылись, и это было уже не лето и не весна, это был вообще совершенно другой год, в котором больше не было никаких времен, а было только наше настоящее время.

Мы все еще держали друг друга в объятиях и ничего не говорили, но внезапно я заметил, что не осознаю, что держу ее. У меня больше не было ощущения, что мы целовались. Мне казалось, что я увидел бабочек, и мысли мои разбежались по временам года, словно в водовороте того, что я уже испытал. Все события словно мчались дальше, мимо меня, как будто весь мир вращался, а мое тело оставалось неподвижным, но все же оно трепетало и трещало в ужасной буре революции, как полотнища штандартов во время урагана, разрывающиеся на части. Маленькие квадраты парчи трещали по швам, нависая над головами множества людей. В следующий миг я понял, что меня вновь поразило то же состояние полного отсутствия времени, как недавно, вечером на деревенской улице. Реза тоже что-то заметила, я увидел, что она смотрит на меня с удивлением.

— Прости меня, — сказал я в замешательстве, выпрямляясь и бросая фуражку и перчатки на стол, — я, кажется, опоздал, но меня остановили внизу, когда я направлялся к тебе. Это заняло больше времени, чем я думал...

— Кто задержал тебя?

— Унтер-офицер у входа, — сказал я. — У меня не было пропуска, но подоспел лакей и повел меня

дальше. Мне очень жаль, что я задержался. Ты долго ждала?

— Я читала.

— Дай мне сигарету, — попросил я, потому что искал сигареты в карманах и не нашел.

Она взяла с дивана небольшой портсигар, кожаный с золотой отделкой, и протянула мне. Но оказалось, что мне трудно достать из него сигарету. Она взяла портсигар у меня из рук и несколько раз встряхнула, пока не показались кончики сигарет.

— Вот, — сказала она. — Разумеется, в присутствии эрцгерцогини нам курить не позволено. Мы курим, только когда остаемся одни.

Она улыбнулась и протянула мне зажигалку. Я поцеловал ее руку.

— Послушай, — сказал я, закуривая, — мы остаемся здесь? Мы могли бы куда-нибудь пойти? К Багратиону. Я разбуду его и попрошу ненадолго уйти, и он, конечно, уйдет. Разве ты не хочешь?

Она посмотрела на меня, затем снова упала на диван.

— Нет, — сказала она.

— Почему нет? Здесь неприятно оставаться. В любой момент кто-нибудь может войти и обнаружить нас. Ты сама это говорила.

— Да, но вряд ли кто-нибудь войдет. Кто, например? Все спят.

— Даже Мордакс?

— Нет, она не спит. Она знает, где я.

— Что, если ей придет в голову зайти?

— Тогда она зайдет.

Я ответил не сразу, продолжая курить, и сел на диван рядом с Резой.

— Сегодня я ехал сюда несколько часов, — сказал я, — чтобы снова увидеть тебя, а твоя так называемая подруга может войти в любой момент. Пойми, мне это не нравится.

— Она не войдет, — сказала Реза, — я тебе уже сказала. Если она зайдет, мы попросим ее уйти. Вчера ты ее прогнал. Неужели сегодня не сумеешь? Я рада, что могу хотя бы видеть тебя и говорить с тобой.

— Реза, — сказал я, — мне очень повезло, что вместо того, чтобы быть Бог знает где — в России — мой полк стоит всего в паре сотен километров от Белграда. Но очень возможно, даже весьма вероятно, что полки скоро получат приказ выступить. Тогда я, боюсь, никогда тебя больше не увижу. Ты же можешь уйти незаметно для других. Никто не заметит твоего отсутствия, когда вернешься.

Она опустила глаза, затем сказала:

— Но я не хочу этого делать. И, — добавила она через мгновение, — разве ты не будешь хотеть увидеть меня снова, если уйдешь вместе со своим полком? Больше не захочешь?

— Не все возвращаются с фронта, — сказал я. — Насколько я знаю, в этой войне погибло уже десять миллионов.

— Вас отправят на фронт?

— Куда же еще?

— Но эригерцогиня сказала, что тебя направят в полк, который не пойдет на фронт!

— Из-за меня целый полк освобождать от задачи не станут, когда он потребуется. А что здесь в городе говорят о настроениях в армии? Разве эрцгерцогиня ничего не знает?

— Эрцгерцогиня?

— Да. Разве она не говорила с тобой об этом?

— О чем? Об армии? Нет, не говорила.

— Я имею в виду ситуацию на фронте, там, где сейчас фронт?

— Где сейчас фронт?

— Да, да! Войска продолжают отступать уже шесть недель подряд. Первоначально он был недалеко от Галлиполи, у берегов Турции. Бог знает, где фронт теперь. А что говорят о мятежах?

— О мятежах? Возможно, эрцгерцогиня знает, но ничего не говорит. Какие мятежи? — переспросила Реза.

— Гусарская дивизия отказалась переправляться через Дунай.

— Почему?

— Послушай, — сказал я, — разве вы здесь ничего не знаете? О чем вы тут разговариваете весь день?

— Ты сам, — парировала она, — вчера тоже ничего об этом не говорил! Почему говоришь сегодня? Что случилось?

— Случилось? — повторил я. — Ничего. Это значит — пока ничего. Но, может быть, что-то уже произошло, возможно, вы этого просто не замечаете. Но скоро заметите. Вы все заметите, даже притворяясь, что ничего не знаете.

— Но я действительно ничего не знаю! Откуда мне знать?

— Не может быть, чтобы никто не знал! Остальные определенно знают. И вы должны узнать.

— Кто — остальные? Те, что сидят в генеральном штабе? Ты сам был там вчера.

— Но сегодня уже не вчера, а завтра уже не будет сегодня. И кто знает, что будет завтра!

Она не ответила, глядя на меня.

— Ты думаешь, — сказал я, — я рассказываю небылицы?

— Нет, — сказала она, — но я не могла предположить, что вы действительно можете попасть на фронт.

— Ну, — сказал я, — конечно, можем. И обстоятельства складываются так, что если я попрощаюсь с тобой сейчас, то, возможно, больше никогда тебя не увижу. На что же мы тратим то небольшое время, что нам осталось? Почему бы тебе не пойти со мной?

Она посмотрела в пол, потом сказала:

— Я бы тоже... — она остановилась, но продолжила, — ...мне будет очень жаль, если я больше не смогу тебя видеть. Но почему ты хочешь, чтобы я пошла с тобой в дом твоего друга? Если бы мы действительно встречались в последний раз перед долгой разлукой, стоило бы говорить именно об этом, а не просить меня сделать то, чего я делать не хочу.

— Почему ты не хочешь этого делать?

— А что бы это изменило? Ты говоришь, что... что что-то чувствуешь ко мне, и я тоже, мне очень нравится тебя видеть, иначе меня бы здесь сейчас не было. Почему мы должны куда-то идти? Что мы получим та-

кого, если сделаем нечто, что делают люди, которым наплевать друг на друга? Зачем тебе это?

— Потому что я очень тебя люблю.

Она посмотрела мне в глаза, затем покраснела и вновь отвернулась.

— Я не хочу этого делать, — сказала она наконец. — И если ты действительно любишь меня, зачем просишь? Ты мне понравился, когда я увидела тебя в первый раз, ты отличался от других, поэтому я написала тебе то письмо. Я была очень расстроена тем, что у тебя начались неприятности из-за меня. И ты поступил очень красиво, красивее, чем кто-либо другой, когда пришел сюда вчера, чтобы сказать мне, что хочешь видеть меня снова. Я тоже все время думала о тебе. Вчера я не могла уснуть и представляла, как ты едешь в свой полк, как приезжаешь туда, оказываешься среди множества других кавалеристов, и что ты совершенно не похож на них. И сегодня вечером я пыталась читать, но думала только о тебе, что ты все ближе, и вот ты здесь. Почему ты не хочешь от меня чего-то большего, чем того же самого, чего хотят все остальные мужчины, ухаживающие за женщинами? Почему тебе нужно пойти со мной к другу, разбудить его, поговорить с ним, а когда он будет проходить мимо меня, я должна буду отвернуться от него, чтобы он не увидел моего лица. А потом, когда мы вернемся сюда, ты скажешь: до свидания, до свидания, дорогая, и все будет так, как у всех. Ты слишком дорог мне, — сказала она, краснея, — чтобы я поступила так.

Я наклонился к ней и поцеловал, и она снова поцеловала меня в ответ.

— Реза, — сказал я, взяв ее за запястья и целуя ее ладони, — нет смысла что-то воображать и тратить впустую то небольшое время, что осталось. Мы такие же, как и все молодые люди, только ты прекраснее любой другой девушки. Но в остальном мы такие же, как все. Мы точно не исключение. Сейчас не время для исключений. Если я погибну, как многие другие, почему бы тебе просто не полюбить меня, как все остальные любят тех, с кем хотят быть! Нет смысла так серьезно к этому относиться, ведь смерть близко. Возможно, мы никогда больше не увидимся. Пойдем со мной.

Она покачала головой.

— Тебе не нужно, — сказал я, — стесняться Багратиона, если ты пойдешь со мной. Он будет молчать. Я сверну ему шею, если нет. Среди часовых дворца нет ни одного офицера, а рядовые достаточно разумны, чтобы не заметить твой ночной уход. Все будут видеть в тебе девушку, которой движет сердце, а не девушку, которая создает себе проблемы. Идем.

— Нет, — сказала она.

— Или ты думаешь, — уговаривал я, — что встретишь в коридоре кого-то, кто тебя знает? Мы можем спуститься по отдельности. Если встретишь кого-то, то в этом не будет ничего особенного. Ты не хочешь идти со мной поэтому? Вставай, пойдем.

Я встал и схватил ее за руку, но она сказала:

— Нет, оставь меня. Я действительно не хочу.

— Действительно?

— Да.

— Почему?

- Потому что не хочу.
- И это твоя причина?
- Ты не поймешь.
- Да, я не понимаю.
- Мужчина не поймет.
- Может и так.
- Точно так. Иначе ты не требовал бы назвать

причину.

- Может быть, ты просто не понимаешь меня.

— Да, мы не понимаем друг друга. Мне неловко об этом говорить. Так что давай поговорим о другом.

Я пожал плечами и некоторое время смотрел на нее, затем подошел к столу, где лежали мои перчатки. Я взял их и снова бросил обратно. Я подумал, что она, вероятно, понятия не имеет о том, что происходит, и о том, что если я уйду, то больше никогда не вернусь. Она все еще думала, что я преувеличиваю, и не знала, что происходит снаружи, или не хотела этого знать. Она относилась к себе слишком серьезно. Внезапно я подумал, что нет ничего более досадного, чем ее отказ, когда речь идет о чем-то большем, чем желание или репутация девушки. Когда в армии происходили подобные вещи, личные дела вдруг становились не столь важными. Я так гнал своих лошадей и не мог принять это упрямство Резы, то, что она поступала так, не считаясь с моими чувствами. Ведь с девушкой может быть приятно поговорить, но такой разговор бессмыслен, если это просто разговор. Не было смысла так гнать лошадей. Их покормили наспех, и я не мог знать, будут ли у них силы на что-то более важное, чем моя поездка на randevu в Белград. Я нес ответственность

за эти создания, которые могли бы сейчас лежать на соломе и спать, а не ждать позади Конака и потом скакать полночи. Но Фаза по крайней мере лежала на подстилке и спала, а почти рядом с ней, в других конюшнях лежали и спали лошади эскадрона. Солдаты тоже спали, и кто бы мог знать, что им снилось? Может, то же, что и гусарам из Эрменьеша. Офицеры сдались рядовым и делали вид, что ничего не случилось. На самом деле еще ничего не произошло. Но теперь? Когда придет приказ выступать, а рядовые не пойдут, даже не станут седлать коней, не выйдут из казарм? Что тогда будут делать офицеры? Убьют одного или двух человек в расчете, что остальные подчинятся? Но что, если они не подчинятся? Когда полковник выедет на деревенскую улицу, а эскадроны не выстроятся в шеренги, как тогда, когда он ехал вместе с Хайстером, несшим штандарт. Над полками летит штандарт, за ним следуют эскадрон за эскадроном, а теперь штандарт останется один, и вокруг не будет никого...

— Ты мне еще не рассказал, — услышал я голос Резы, — как ты сюда добрался. Долго пришлось?

Я поднял глаза. Она могла заметить, что я снова думал о чем-то совершенно другом, и, поскольку я молчал, она решила, что должна что-то сказать.

— Прости? — спросил я. — Сколько я сюда добирался? Два-три часа.

— А как тебе полк?

— Неплохой.

— У тебя там уже появились друзья?

— Думаю, да. Там есть хорошие люди. Кстати, Боттенлаубен тоже там.

— Кто?

— Боттенлаубен. Немецкий гусар, который был у вас в ложе.

— Как странно! Как он туда попал?

— В качестве гостя, если можно так сказать. Вот и теперь, — сказал я, снова потянувшись за перчатками и фуражкой, — мне нужно ехать обратно.

— Уже?

— Да, путь назад неблизкий, и я не хочу гнать лошадь сильнее, чем это необходимо.

— Жаль, что ты уходишь, — неуверенно сказала она.

— Мне тоже очень жаль, — сказал я; а потом, секунду спустя, я поцеловал ее руки, взглянул ей в глаза, повернулся и пошел к двери.

Но, не дойдя до двери, я услышал звук, словно Реза звала меня. Я обернулся, она стояла, протянув ко мне руки.

— Что? — спросил я. — Ты что-то сказала?

Она не ответила, посмотрела вниз и опустила руки.

— Ты что-то сказала? — снова спросил я.

Она постояла так пару секунд, затем подняла глаза, посмотрела на меня и произнесла:

— Не уходи так просто! По крайней мере, скажи, что вернешься.

— Кажется, — сказал я, — ты забыла, что я не знаю, смогу ли я сделать это еще раз.

— Но если сможешь, то придешь?

— Ты хочешь, чтобы я вернулся?

— Да. Я... я была бы очень рада этому. Ты придешь?

Я ответил не сразу, и мне показалось, что в ее глазах появились слезы.

— Ты приедешь? — повторила она.

— Если тебе не все равно, — сказал я, — я приеду.

— Когда?

— Завтра вечером, если будет возможно.

— Завтра вечером?

— Да.

Я колебался мгновение, но вернулся, подошел к ней и поцеловал.

— Прощай, — сказал я.

Потом я быстро ушел. Лакей был у дверей. Когда мы возвращались по коридорам, я пытался думать о том, что я чувствую к Резе на самом деле. Но мысли перескакивали на другое. Я думал о полке, о приказе, о складывающейся ситуации. Вдруг, потянувшись к очередной двери, лакей отступил. В соседней комнате горел свет, и мы слышали голоса и шаги. Мы успели отступить за портьеру, когда дверь распахнулась и там, где мы находились, зажегся свет. Группа офицеров, в том числе два генерала, в шинелях, быстро прошли мимо в следующую комнату, не заметив нас. Свет они оставили включенным. Они говорили друг с другом на каком-то славянском языке, которого я не понимал. Когда они скрылись из виду, мы пошли дальше.

Я только сказал лакею, что вернусь следующей ночью, потом прошел мимо охраны и поспешил к лошадям. Пока Георг поправлял сбрую, я приказал ему ехать обратно на Гонведгусаре шагом, а когда прибудет в Караншебеш, растереть лошадь и ложиться спать. А за Мазепой пусть посмотрит Антон.

С этими словами я сел на Мазепу и рысью поскакал к Дунаю. Я снова пересек мост и пустил лошадь в галоп. Бревенчатая дорога была уже давно позади, когда я услышал непонятный грохот: земля затряслась, словно ожила под копытами коня. Мы как будто скакали по песку. Но звук шел не от копыт и не из леса, а с юга, из ночи.

Это был артиллерийский огонь.

Ничего подобного я давно не слышал, это было похоже на далекую грозу: мерное, нескончаемое грохотание и рокот грома.

В ста или ста пятидесяти километрах от Белграда французская артиллерия была по нашему отступающему фронту.

Луна уже почти скрылась, когда я прибыл в Караншебеш.

Я разбудил Антона и пресек все расспросы о ночи любви, отдав короткий приказ отвести Мазепу в конюшню и немедленно его растереть.

Затем я захлопнул за собой дверь своей комнаты и бросился на кровать. Я смертельно устал и сразу же заснул. Антон разбудил меня в семь с чем-то утра. Похоже, он больше не хотел ни о чем спрашивать, а вместо этого качал головой, махал руками и всем, что в них нес. Его белые перчатки в рассветных сумерках выглядели призрачно и устрашающе.

— Не делай так! — приказал я. — Лучше скажи мне, что ты позаботился о Мазепе.

— Так точно, господин прапорщик, — откликнулся он. — Они лежат в конюшне и совершенно измучены.

Он говорил во множественном числе, как если бы это не конь, а старый барон лежал, измученный, хватая ртом воздух.

— Все не так уж плохо, — сказал я.

Причинить вред Мазепе было невозможно: он был слишком хорошим конем, привычным к длительным нагрузкам.

— Принеси мне таз с водой, я хочу искупаться. А затем иди седлать Фазу. Во сколько приказано выдвигаться?

— В восемь, — сказал Антон. — В полной экипировке и вооружении.

— Тогда седлай Фазу с седлом Мазепы и сумками, в которые ты набиваешь солому, а еще положи плащ, так будет лучше всего! Поторопись, времени осталось не так много.

— О да, — сказал он, — время еще есть, потому что я уже все упаковал.

— Вот как? — спросил я. — Очень разумно. Тогда неси воду.

— Уже готово, — ответил он, открыл дверь и втащил неглубокую ванну, наполненную водой. Я стоял в ней, пока он намыливал меня и окатывал из кувшина.

— Право, Антон, ты все сделал очень разумно. Нужно отдать тебе должное, ты хорошо соображаешь!

— Если бы господин прапорщик ценил это! — проворчал он. — Но недавно, господин прапорщик...

— Хватит, — перебил я. — Неси завтрак, а потом седлай Фазу.

— О, — отозвался он, вытаскивая ванну прочь, — я ничего не говорю, ничего не говорю.

С этими словами он скрылся за дверь. Тем временем я оделся. Бриться в ту пору мне нужно было не часто. Я ел стоя и пытался собраться с мыслями. Антон уже вывел Фазу во двор. Я прошел в конюшню. Мазепа удобно лежал в соломе. Когда я выходил из дома, Георг как раз только подъезжал на Гонведгусаре.

— Вытри его и иди спать, — сказал я.

Я отправился к своему взводу. Рядовые уже построились — дежурный доложил мне. Я посмотрел на людей. Выглядели они неплохо и экипированы были отлично, хотя форма и меховые воротники у некоторых выгорели и приобрели нелепый бледно-серый цвет. Оружие и сапоги были в хорошем состоянии, лошади уже обросли длинной зимней шерстью. Я проехал вдоль первого ряда, затем приказал солдатам сделать несколько шагов вперед и проехал между первым и вторым рядами. Я смотрел солдатам в глаза. Воцарилась полная тишина, только Фаза изредка встряхивала головой, отчего ее грива перекатывалась волнами.

Мне показалось, что некоторые рядовые держатся неуверенно. Внимание привлекли двое: они посмотрели мне в глаза с жесткостью, которая выходила за рамки и показалась мне вызывающей. Я смотрел на них, пока они не опустили глаза.

Я спросил у унтер-офицеров их имена. Капрал, фамилию которого я все время забывал, остановился слева от первого ряда. Мне пришлось спросить, как его зовут. При этом я помнил, что на вопрос, немец ли он, он ответил утвердительно. Потом я взглянул на дежурного, он сказал мне, что некоторые немецко-говорящие солдаты недавно переведены в этот полк.

«Зачем?» — хотел спросить я, но вспомнил, в чем может быть причина, и больше не задавал вопросов.

— Вперед! — скомандовал я, и мы двинулись к другим взводам, которые уже строились.

Я доложил Аншютцу о своем прибытии.

Вскоре все обнажили сабли, потому что появился Боттенлаубен. Аншютц стал докладывать ему.

В то утро полк тренировался позэскадронно на большом песчаном плацу за деревней. Рядом с нами были уланы, а в стороне Чепрега — полки Кейта и Германский Королевский. Они выглядели длинными серыми полосами на горизонте.

Полк Кейта был назван в честь англичанина, вернее шотландца, ставшего генералом нашей армии. Германский Королевский был тем самым полком, который по приказу маркиза де Буйе ждал Людовика Шестнадцатого и его семью в Варенне, в так называемую Ночь шпор, чтобы спасти его и вывезти за границу. Но гвардейцы задержали короля, и ему уже было не избежать гильотины. Тогда полк ушел в Германию и стал служить кайзеру. Это был знаменитый полк.

Батарей еще не были развернуты. Неважно накормленные лошади с заметным напряжением тянули орудия по песку.

Упражнения продолжались недолго. Наш полковник, фон Владимир, появился только ближе к концу и, курсируя взад-вперед между эскадронами, разговаривал то с тем, то с другим, а за ним следовал Хайстер со штандартом.

Штандарт привлекал внимание, хотя казался маленьким на фоне бескрайнего пейзажа: время от

времени свет отражался от его позолоченного наколенника ослепительными молниями. Парча была так обильно расшита, что сам штандарт сливался с древком и лентами в единое целое. В какой-то момент, когда полковник пришпорил коня, а Хайстер последовал за ним, штандарт полностью развернулся и развеивался над ними.

Во время упражнений Боттенлаубен несколько раз подмигнул мне, а когда эскадрон спешился, чтобы поправить седла, махнул мне рукой.

— Ну, юнкер, не скромничайте. Как все прошло? — спросил он.

Я слегка улыбнулся и пожал плечами.

— Ничего не было, — сказал я.

— Ничего?

— Нет, кроме долгого разговора.

— Какого содержания?

— И содержание и результат отрицательные.

— Боже мой! И это все, что вы можете рассказать?

— Да. Но я бы и так ничего не рассказал.

— А я бы и не просил. Только не принимайте это близко к сердцу, юнкер! Возможно, вы не очень хорошо начали.

— Возможно. И закончил тоже не очень.

— До какой степени?

— До такой, что пообещал снова приехать в Белград этой ночью.

— Чтобы снова только поговорить?

— Наверное.

— Юнкер, — воскликнул он, — это значит либо слишком много, либо слишком мало!

- Согласен.
- И вы угробите своих лошадей.
- Надеюсь, что нет. У меня их три.
- Не забывайте про сон.
- Мне удалось поспать еще два часа.
- Поспите еще пару часов днем.
- Благодарю.
- А ночью вы снова хотите поехать?
- Да, и прошу вашего разрешения, граф Боттенлаубен.

Он посмотрел на меня, покачал головой и сказал:

— Если ты думаешь, что на этот раз тебе повезет больше!..

— Я не очень-то на это надеюсь, — сказал я. — Это должно быть своего рода прощание.

— Ну, — сказал он, — не падайте сразу духом. Может, еще повезет. Что-то еще? — поинтересовался он.

— Да.

— А именно?

— Я слышал артиллерийские залпы.

— Когда? Где? В Белграде?

Я рассказал ему. Поглаживая свою лошадь, он задумчиво смотрел под ноги.

— Я спрашивал тут, — сказал он, — о настроениях в полку. Но унтер-офицеры не могут сказать ничего определенного. Утверждают, что настрой хороший. Но они могут не знать или не признавать, что в полку не все благополучно. Ведь если бы я заметил хоть малейший след такого дурного настроения, я бы лично поставил этого солдата на место. Уж поверьте!

С этими словами он приказал садиться в седла. Мы вернулись обратно через час. Полковник и Хайстер оказались в деревне раньше, и я вновь не узнал, где хранится штандарт.

После обеда Боттенлаубен остановил меня и сказал:

— Юнкер, я тут подумал. Я не верю тому, что вы рассказали мне о поездке в Белград. Вы нарочно сказали, что вам не повезло ночью.

— К сожалению или к счастью, не повезло.

Он рассмеялся и сказал:

— В любом случае, повеселитесь следующей ночью!

С этими словами он хлопнул меня по плечу и отпустил. По дороге на квартиру я подумал о его словах и очень рассердился на себя. Но сразу забыл об этом, когда обнаружил у себя на столе уведомление, в котором говорилось, что меня наконец-то зачислили в полк Марии-Изабеллы. То же относилось к Антону и Георгу.

— Антон, — сказал я, — я ложусь спать, а ты тем временем отнеси мой мундир к полковому портному, чтоб нашил черные галуны. На твой мундир и Георга их тоже нужно нашить. Теперь мы часть этого полка.

— Еще и это! — проворчал Антон, и было не понять, сказал ли он это из сожаления по своим красным галунам или из-за плохого настроения. Только когда я уже засыпал, мне пришло в голову, что его слова могли иметь другое значение. Как если Антон успел заметить, что в этом полку уже совсем не так спокойно. Но у меня не было сил звать его и спрашивать, что

он имел в виду. Я заснул, а когда проснулся, то обо всем этом уже не вспомнил.

Я проснулся от того, что Боттенлаубен сидел на краю моей кровати и тряс меня за руку. Было темно, Антон стоял со свечой в руке.

— Юнкер, — сказал Боттенлаубен, — случилось!

— Что случилось? — спросил я.

— Завтра утром, в семь часов, мы уходим. Тебе повезло, юнкер. Мы идем к Белграду. Потому что только там мы можем перейти через реку. Ночуем под Белградом. Вы сможете попрощаться, со всеми вытекающими последствиями. Понимаете, юнкер? Но сегодня вечером, конечно, я не могу позволить вам поехать в сербскую столицу. Не могу позволить снова загнать лошадей. Они понадобятся вам в ближайшие дни. Если можете, то пошлите туда человека с известием, чтобы вас не ждали напрасно. Это все, что я хотел вам сказать. Мне нужно идти, у меня еще есть дела. До встречи!

С этими словами он ушел. Антон, уже с черными галунами, со свечой в руке и моим обновленным мундиром стоял посреди комнаты безмолвным обвинением. Брови его были преувеличенно приподняты, седые бакенбарды — и те выглядели возмущенными.

— Что ж, господин прапорщик, — начал он, — как я понял из слов графа, вы действительно собирались в Белград этой ночью? Господин прапорщик, ты две ночи подряд хочешь скакать на лошади, спать в седле или еще где, где я даже не хочу себе представлять! Подумайте, господин прапорщик! Я, хотя я несу за вас всю ответственность, к сожалению, не имею власти

удерживать вас, но господин граф — как бишь его зовут? — похоже, намерен помешать вам снова уехать. Из поездки в Белград ничего не выйдет, сам Господь Бог и граф сошлись во мнениях, чтобы положить этому конец, господин прапорщик! Неужели в твоей голове одни только женщины? Неужели не замечаешь, что в полку...

— Молчать! — прогремел я. — Я запрещаю продолжать. Бог и граф не закрыли передо мной дверь на ключ, так что я все же еду в Белград! Иди, позови Георга!

Он остановился, как громом пораженный моим окриком и моим решением, которое он не мог принять.

— Как? — пробормотал он. — Господин прапорщик хочет ехать в Белград, хотя граф явно...

— Да! — крикнул я. — Хочу! Иди за Георгом! Марш!

Он закачал головой, и качал ей все сильнее, затем бросил мундир на мою кровать, поставил свечу на стол, резко развернулся и выбежал из комнаты прочь.

Я посмотрел ему вслед, пытаюсь собраться с мыслями и осознать слова Боттенлаубена — ведь решение отправиться в Белград я принял только что. На мгновение я даже подумал о том, чтобы остаться, но отбросил эту мысль — кто мог знать, увижу ли я Резу снова? Вскоре вошел Георг, и я спросил его, который час. Он ответил, что уже больше семи.

Нельзя было терять время. Я приказал ему немедленно собираться, на Фазе рысью ехать к дунайскому мосту и ждать меня там. Я предвидел, что мне понадобится Мазепа, чтобы быстро добраться до Дуная.

На обратный путь, вероятно, у меня будет больше времени.

Антон, которого только угрозами можно было удержать от громких причитаний и демонстративного заламывания рук, я отправил к крестьянам за овсом для лошадей. В девять вечера он обычно занимался Мазепой.

Я рассчитывал вернуться к половине шестого утра. Затем примерно до семи коня нужно было расседлать и привести в порядок.

Было где-то четверть девятого, когда Георг уехал, но не по улице, а через поля позади. В восемь я был в столовой эскадрона. Боттенлаубен, похоже, решил дать короткую прощальную вечеринку. Он поднимал за здоровье двух императоров и всех немецких князей чашку черного кофе, обильно смешанного с ромом, и поскольку князей было довольно много, а кофе у нас был хороший, то мы успели выпить за властителей Липпе-Детмольда, Брауншвейг-Вольфенбюттеля и за младшую ветвь Ройссов. Боттенлаубен был в отличном настроении. Он был глубоко удовлетворен тем, что после известия об отходе ни наши эскадроны, ни другие не выказали ни малейшего признака недовольства.

Около двенадцати, когда я уже сидел как на иголках, он наконец решил отпустить нас спать. Он сказал, что завтра мы должны быть свежими. Ему не приходило в голову, что я собираюсь сделать.

Я побежал к себе на квартиру, потом в конюшню. Антон сидел на соломе рядом с оседланным Мазепой и кивнул. Мазепа тихонько заржал, увидев меня. Не об-

ращая больше внимания на Антона, я вывел лошадь, вскочил в седло и поскакал. Мазепа в ту ночь шел быстро. Была половина третьего, когда мы добрались до Дуная. Конь дышал как огромная машина. Но к концу пути был уже весь в мыле.

Стояло полнолуние. Луну украшал двойной ореол из цветов радуги. Более того, на несколько минут на небе показалось удивительное явление. Слева и справа от Луны образовались облачно-красные, почти черные вторые луны, тоже окруженные радугами. Длилось это довольно долго, достаточно, чтобы вызвать у меня жутковатые предчувствия. И на этот раз, приближаясь к Дунаю, я снова услышал приближающийся шум в тишине ночи, но это был не артиллерийский огонь, это был скрежет, лязг и звуки движения.

Я увидел огромные вереницы транспорта, переправляющегося по обоим мостам через Дунай. Это могли быть только обозы, посланные вперед перед отступающей армией. Я изо всех сил пытался их обойти. Все они были нагружены под завязку и с трудом продвигались вперед, но все же двигались в идеальном порядке. По двум мостам беспрерывно полз транспорт.

Георг с Фазой стоял слева от въезда на мост, рядом с охраной, люди молча смотрели на тянущиеся колонны. Часовой что-то крикнул одному из водителей, спросил о чем-то, но тот только пожал плечами и поехал дальше. Он тоже мог мало что знать: вероятно, это были грузовики с багажом и провизией, а не военный эшелон, прибывший с прифронтовой полосы.

Я спешил и приказал Георгу немедленно вести Мазепу обратно. Затем пересел на Фазу. Как сказал

мне Георг, они ехали быстро, потому что он боялся, что опоздает. Но потом пришлось ждать час до моего приезда. Колонны идут давно, но никто не знает откуда и куда. Пока Георг садился на Мазепу, чтобы ехать обратно, я пытался попасть на мост рядом с обочинами. На нем почти не было места, и прошло много времени, прежде чем я оказался на другом берегу. Доскакав до Конака, я привязал Фазу за поводья к оконной решетке и поспешил ко входу.

С охраной проблем не возникло, появился давно поджидавший меня лакей и повел дальше. Встреча с Резой была очень короткой. Я увидел слезы в ее глазах — она уже решила, что я не приду.

— Прости меня, — сказал я, — что я пришел так поздно, но я едва смог выехать из Караншебеша до двенадцати. Я здесь без всякого разрешения и только для того, чтобы попрощаться с тобой. Мне было не просто приехать, и кто знает, вернусь ли я. Но я не хотел уезжать, не попрощавшись с тобой. Сегодня утром мы уходим.

Она слушала молча.

— Как? — наконец выговорила она. — Вы действительно выступаете?

— Да. Мы пройдем через Белград. Сегодня днем мы пересечем город и встанем лагерем. Так что, возможно, я смогу прийти к тебе еще раз. Но это не точно. Что-нибудь запросто может измениться. Мы можем просто пойти дальше. Вероятно, положение на фронте усугубилось. Вчера уже была слышна стрельба, а сегодня много транспорта проходит по мостам на другой берег. Скорее всего, теперь и ты здесь ненадолго. Я не

понимаю, почему вы еще не уехали. Может быть, мы увидимся завтра снова, а может быть, позже или, может быть, никогда. В любом случае: до свидания!

С этими словами я обнял ее и поцеловал. Вдруг она прижалась ко мне и зарыдала.

Она не хотела верить, что нам придется проститься, теперь она все поняла, и ей было страшно, ведь понимание пришло слишком поздно.

Я погладил ее по волосам.

— Реза, — сказал я, — завтра я приду снова. Если смогу, то я вернусь к тебе завтра ночью. Жди меня, я сделаю все возможное, чтобы прийти. И если получится, то смогу остаться дольше, чем обычно. Потому что путь будет не так далек.

Она плакала, целуя мои щеки и губы. Ее плечи вздрагивали, как крылья пойманной птицы.

— Приходи, — попросила она, — обязательно! Будет ужасно, если я тебя больше не увижу. И я пойду с тобой, куда хочешь. Ты сможешь отвезти меня к Багратиону или куда угодно еще. Я люблю тебя!

— Реза, — сказал я, — я так рад, что ты это сказала. Для меня эти твои слова дороже, чем если бы ты пошла со мной вчера, не желая того. Я постараюсь передать сообщение Багратиону завтра, когда мы будем проходить через город, и сделаю все, чтобы быть здесь завтра вечером. А теперь мне пора. До свидания, до встречи!

С этими словами я снова поцеловал ее, она не хотела меня отпускать, обвив мою шею руками. Мне пришлось вырываться чуть ли не силой, и, когда я выходил из комнаты, она упала в кресло у двери, закрыла

лицо руками и зарыдала. Как же трудно мне было уйти в ту секунду! Я смотрел на нее еще миг, а потом пошел прочь. В тот момент я любил ее почти так же сильно, как она любила меня.

Когда я вышел во двор, было почти три часа, обозы на мосту здорово меня задержали. Я вскочил в седло и поскакал к реке. Мне снова пришлось долго пропускать колонны, ехать медленно, но я добрался до другого берега. Затем — по тропинке, опасаясь случайно опрокинуться в болото на краю. Ночь была темной, луну скрыли облака.

Было уже без малого четыре утра, когда я наконец оставил позади вереницы транспорта, сворачивавшие налево. Мы галопом неслись по песчаной дороге. Около пяти я заметил, что Фаза задыхается. Ее нельзя было сравнивать с Гонведгусаром, не говоря уже о Мазепе, и время от времени мне приходилось переходить на рысь. Галопом она могла идти недолго, один раз она даже оступилась. Я очень боялся, что не смогу вовремя добраться до Караншебеша.

Но к рассвету мы добрались. Солдаты уже выводили навьюченных лошадей из конюшен. Порывы холодного западного ветра и капли дождя приветствовали меня и усталую лошадь. У дверей дома стояли Антон и Георг с двумя другими оседланными и навьюченными лошадьми. Антон заметно нервничал, но не посмел меня упрекнуть. Он лишь вздохнул с облегчением, когда увидел меня. Терять время было нельзя. Пока Антон пытался спешно накормить и напоить измученную лошадь, Георг переседлал ее для себя, потому что он был самым легким из нас, растер

ей шею и круп. Его вещи были сложены в мешки, он быстро свернул плащ и одеяло. Оставалось надеяться, что Фаза сможет немного передохнуть во время марша, когда все, скорее всего, будут идти шагом. Главное, чтобы Боттенлаубен не увидел лошадь. Их с Георгом место было во втором звене.

Мы сложили все, что еще не было упаковано, надели шлемы, затем я забрался в седло Мазепы, а Антон — на Гонведгусара. Антон, надувая щеки, продолжал демонстрировать свое неудовольствие. Он отвернулся от меня и качал головой, потому что явно не желал меня видеть.

Мы подошли к голове эскадрона. Кавалерийские шлемы сверкали своими дубовыми листьями. Как только я занял место перед своими людьми, появился Боттенлаубен, и мы обнажили сабли.

Боттенлаубен, похоже, намеревался пережить сложившуюся ситуацию достойно и деятельно. Громким голосом он приказал убрать сабли в ножны и трогаться. Эскадроны перестроились в колонны и, гремя оружием и снаряжением, стали покидать деревню.

Крестьяне стояли перед своими домами и смотрели на нас. Я за спиной Боттенлаубена тайком жевал хлеб в качестве завтрака. Граф тем временем смотрел то прямо перед собой, то налево и направо, но, к счастью, ни разу не обернулся. С облегчением я заметил, что Мазепа намного свежее, чем я того боялся после поездки на Фазе. Он упруго шагал подо мной. Порывы ветра утихли. Но небо было очень пасмурным. Дивизия сливалась в единую массу — все эскадроны двинулись бок о бок к месту встречи между Караншебешем и Чепрегом, а наш фронт был обращен на юг. Орудия следовали позади, а пулеметные эскадроны слева от каждого полка.

Полки с грохотом двигались навстречу. Полк Марии-Изабеллы занял правый фланг дивизии, за ним следовали тосканские уланы и драгуны полка Кейта, и, наконец, Германский Королевский полк. Поскольку я командовал первым взводом первого эскадрона нашего полка, то оказался стоящим впереди и справа от

западного крыла всей кавалерийской массы. Отдельно от своих солдат, лицом к эскадронам, выстроились их командиры, дальше — полковники, а справа, сразу позади них — четыре прапорщика со штандартами.

Рядом с каждым из полковников слева стояли верхом адъютант и капеллан в облачении. Облачения блестя золотом и переливались на свету. Командир дивизии и его штаб остановились напротив центра. Было видно, как сверкает алая подпруга седла генерала.

Когда построение завершилось, на несколько минут воцарилась тишина.

Затем прозвучала труба, и командиры эскадронов, а также полковники со своими штабами и командир дивизии со своей группой подъехали к нам.

Штандарты, слегка наклонившись вперед, двинулись к своим полкам. Наконечники их древков сверкали. Они замерли на некотором отдалении. Поступила команда воздерживаться от длинных речей и напомнить солдатам об их долге. Полки заново произнесли присягу.

Командиры взводов тоже развернули лошадей и посмотрели своим людям в глаза. Затем полковые адъютанты стали громко и четко произносить слова клятвы, духовенство подняло распятия, и так, глядя на распятого Христа и на знамена, солдаты должны были повторять за ними. Адъютанты начали:

— Клянемся перед Всемогущим Господом священной клятвой...

Солдаты механически повторили:

— Клянемся перед Всемогущим Господом священной клятвой...

— ...что будем верно и преданно служить Его Величеству, нашему Наисветлейшему Князю и Господину...

— ...что будем верно и преданно служить Его Величеству, нашему Наисветлейшему Князю и Господину... — повторили солдаты.

И так предложение за предложением.

Каждый раз, когда солдаты заканчивали говорить, по рядам проносился еле слышный ропот. Офицеры и командиры взводов наблюдали за подчиненными, чтобы убедиться, что все повторяют. Все повторяли.

Некоторые офицеры повторяли то, что говорили адъютанты, на языках своих солдат. И солдаты повторяли эти слова на своих языках.

Клятва была принесена.

— Да поможет нам Бог! Аминь.

— Да поможет нам Бог! Аминь, — повторили солдаты, и снова по рядам как будто волной пронесся ропот. Потом наступила полная тишина. Где-то заржала лошадь. Священники медленно опустили распятия, офицеры мгновение молча смотрели солдатам в глаза, затем развернули лошадей.

Пока приносилась присяга, я заметил, что какой-то офицер на сером коне с черной гривой и хвостом проехал между колоннами — немецкой рысью, слегка наклонившись вперед. Как ни странно, впереди него бежали две собаки с густой серой шерстью. Казалось, он хотел убедиться, что солдаты исправно повторяют клятву. Я подумал, что ему следовало бы оставить собак дома. Присутствие этого офицера вызвало волнение: где бы он ни проезжал, внезапно огибая крылья

колонн, лошади ему уступали, даже шарахались, — скорее, наверное, от собак, которые бежали, опустив головы и хвосты. В общем-то, лошади не боятся собак, даже тех, к которым они не привыкли. Все действия этого офицера казались вычурными, и он явно был не из нашего полка. Вскоре он скрылся из виду.

Тем временем труба дала сигнал начать марш. Командир дивизии и наш полковник приблизились к моему крылу, Боттенлаубен громким голосом повторил приказ, галопом прискакал к нам и повторил приказ двум ротмистрам передо мной. Оттуда, где остановился наш эскадрон, полк, а за ним вся дивизия начали движение шеренгами по четыре человека. Мы следовали за штабом дивизии. Образовалась огромная колонна, из-под копыт поднималась пыль. Передо мной ехали полковник со своим штабом и Хайстер, несший штандарт, затем следовал Боттенлаубен, а за ним я перед своими людьми. Штаб дивизии был в сотне шагов впереди нас.

Подъехали Кох и Аншютц, мы поздравили друг друга с удачной позицией нашего крыла: нам хотя бы не нужно было глотать пыль. Оглянувшись назад, мы увидели, что колонна окутана пылевой тучей. Подобно дыму от огня, она поднималась из-под копыт лошадей и почти скрыла значительную часть тех, кто шел за нами. Труба заиграла марш под названием «Отбытие из Трюбау», а потом и другие подобные марши.

— Кто это был, — спросил я, — всадник, который проскакал между колоннами во время присяги? Вы, наверное, тоже его видели, с ним еще были две

большие собаки. Что за нелепость брать с собой таких зверюг, да еще во время присяги!

Аншютц рассмеялся и сказал:

— Это офицер из ставки дивизии, из резерва, ротмистр барон Хакенберг. Он отвечает за связь с командованием корпуса. Очевидно, он хотел проследить, все ли приносят присягу. С ним всегда собаки, и с ними никто не будет ничего делать, потому что, во-первых, они никого не кусают, а во-вторых, с ним никто не хочет связываться. Вероятно, у него есть некое влияние. В любом случае, это непростой человек и такие мелочи сходят ему с рук.

— Лошади его испугались, — сказал я.

— Ну да, — сказал Аншютц.

— Что ж, — произнес Боттенлаубен, — что вы скажете о том, верно ли произносили клятву? Все в порядке?

— Пока что да, — сказал Кох.

— Пока что да?

— Пока что да.

— Что вы хотите этим сказать?

— Ничего, — ответил Кох. — Я просто хотел сказать, что барышни в деревне рассказывали, что рядовые решили без колебаний произносить присягу.

Он немного покраснел, возможно, потому, что мы снова проходили через Караншебеш и на улицах стояли крестьяне с женами и их дочери. Но когда поднялась пыль, они немедленно попрятались по домам. Огромные облака песчаной пыли тянулись из-под копыт нескончаемой кавалькады. Деревня наполнилась стуком копыт и колес орудий, ржанием лошадей, ко-

торые наивно радовались, полагая, что возвращаются в конюшни, и звуками труб. Я спросил Аншютца, знает ли он лично ротмистра Хакенберга.

— Нет, — сказал он, — я с ним не знаком. Но, — добавил он, поскольку у него были обширные познания обо всех, кто служил в армии, — у него есть младший брат из капрарских драгун, он капитан, и он огромного роста. Также говорят, что он необычайно силен. Я немного знаком с ним.

— Почему с ним собаки?

— С нашим?

— Да.

— А почему нет? Что еще ему с ними делать? Это его собаки, и ему просто некуда их деть.

— Они всегда с ним?

— Да.

— И он, — спросил я не сразу, — из резерва?

— Раньше он был профессиональным военным.

— И что он делает сейчас?

— Сейчас?

— Да, чем он занимается, когда не присматривает за солдатами и не пугает собаками лошадей?

— Не знаю. Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду: откуда он вообще взялся?

— Тоже не знаю. Кроме него и его брата, я не знаю никого из его людей.

— Он давно здесь?

— Несколько недель.

Боттенлаубен сказал, что знает в центральной Германии одну семью с фамилией Хакенберг. Они могут быть родственниками. Он довольно долго рас-

сказывал про этих немцев, но я вскоре перестал слушать его рассказ. Караншебеш остался позади, путь стал однообразным, и я начал клевать носом в седле. Сказывалась усталость от бессонных ночей. Поступила команда ускориться, и мы минут двадцать шли рысью, но в конце концов вновь сбавили темп. Остальные продолжали болтать, но я больше не участвовал. Только в Эрменьеше я снова выпрямился. Гусары стояли перед своими квартирами и с интересом смотрели на нас. Боттенлаубен, качая головой в своем большом кивере, проехал мимо них, не выказав никакого внимания.

После Эрменьеша дорога поворачивала на юг. Снова подул западный ветер, и теперь пыль уносило в сторону от нашей колонны. Я задремал. Я действительно очень устал.

Глаза мои были открыты, но на самом деле я ничего перед собой не видел. Трубаچی перестали играть, и лязг оружия, топот копыт по песку и приглушенные разговоры вокруг меня слились в один сонный звук. Вокруг тянулась плоская равнина, я ездил здесь только ночью, но и теперь, при свете дня, ничего интересного вокруг не наблюдалось. Небо было темно-серым, низко провисшие кучевые облака вуалями пролетали над нами. В полях бродили вороны. Когда мы приближались, они с карканьем уносились прочь.

Передо мной размеренно покачивались лошадиные крупы и спины офицеров полкового штаба, казалось, они будут двигаться так вечно. Хайстер прислонил древко штандарта к плечу, скрестив руки, в которых держал поводья. Он ехал, наклонясь вперед,

над его головой колыбался квадрат штандарта, связка лент раскачивалась, словно метроном, взад-вперед при каждом шаге его лошади. Иногда лошадь ступала не в такт, и штандарт повторял за ней это движение. Я подумал о Фазе, ход которой был очень похож на ход лошади Хайстера. Я хотел оглянуться, чтобы посмотреть, как там Фаза, но тут же почувствовал, что не могу повернуть голову от усталости. Я снова следил за движениями штандарта, это было единственное, что на фоне хмурого неба осталось в поле моего зрения. Я подумал, что плохо, когда штандарт так бессмысленно качается из стороны в сторону. Как болванчик, который просто кивает головой. Затем мне подумалось, что люди могут потерять уважение к штандарту из-за того, что Хайстер несет его так небрежно. Я бы нес его совсем по-другому. А он качается как маятник. Не хватало только характерного звука: тик-так, тик-так, тик-так...

Я вздрогнул: мне вдруг показалось, что я заснул. Ветер усилился, порыв подхватил штандарт и развернул его. Сверкнул двуглавый орел. Сзади послышалось беспокойное ржание лошадей. Рядом с копытами Мазепы показались две большие серые собаки с опущенными головами и хвостами, а мгновение спустя рядом со мной возникла черноволосая голова. Человек, сидящий на коне, был немногим выше среднего роста, очень стройный и худощавый. Ему было чуть больше пятидесяти, форма была изношена, а меховой воротник и золото аксельбантов потерялись. Кожа лица была смуглая, лицо очень узкое, щеки и подбородок тонули в темной бороде. Однако в тени шлема глаза казались

такими синими, что мерцали даже сквозь веки, когда он их опускал. Он обратился ко всем нам и представился:

— Хакенберг.

При этом между обесцвеченной перчаткой из оленьей шкуры и меховым рукавом обнажилось запястье: это был самый тонкий сустав, который я когда-либо видел у мужчин. В довольно старомодной манере он спросил, может ли он иметь удовольствие стать частью нашей компании. Боттенлаубен ответил, что для нас нет ничего лучше. Глаза графа весело сверкнули, как будто он ожидал развлечения от присутствия этого старика. Но если бы мы знали, каких развлечений мы можем от него ожидать, мы бы послали его подальше как можно скорее.

Тем временем его буланый конь вытянул голову вперед, втянул ноздрями воздух и двинулся вперед с той же небрежностью, что и собаки, которые теперь бежали перед нами.

Поначалу наших лошадей беспокоило присутствие этих собак, но вскоре они как будто привыкли к их обществу.

Хакенберг говорил о самых разных вещах, остальные ему отвечали, а я тем временем заметил, что вдаль уже показались крепость и холмы за Белградом. Я, должно быть, долго дремал в седле, потому что у меня вдруг возникло ощущение, что уже совсем поздно, уже давно за полдень. В самом деле, оказалось, что уже половина второго. Мы спешили, переседлали лошадей. Задымили походные кухни, солдаты и офицеры принялись за обед. Офицерам подали куриные консервы

на жестяных тарелках. Появилось венгерское столовое вино. Вокруг походного стола для штаба дивизии поставили несколько стульев; генерал попросил полковника фон Владимира сесть с лейтенантом Кляйном и принять участие в трапезе.

Хайстер, воткнув штандарт древком в песок, подошел к нам с жестяной тарелкой в руке. Хакенберга пригласили быть нашим гостем. Ели стоя. Хакенберг рассуждал о том и о сем, а Кох протянул объединенные куриные кости его собакам. Собаки сперва недоверчиво прижали уши, но затем принялись за кости. Боттенлаубен сказал, что собак нельзя кормить длинными костями, они могут ими подавиться, на что Хакенберг ответил, что его собаки не подавятся ни при каких обстоятельствах. Теперь и Хайстер бросил им кости. Но когда он захотел подойти к ним ближе, они оскалили зубы и зарычали. Собаки производили впечатление совершенно диких и злобных тварей. Хайстер отступил, а Хакенберг крикнул: «Тихо!», после чего собаки вернулись на свое место. Хакенберг быстро взглянул на Хайстера и, пока мы закуривали, сказал:

— Прапорщик, кажется, вы не понравились собакам.

Хайстер возмущенно ответил, что весьма сожалеет об этом.

— Как зовут собак? — спросил Боттенлаубен.

— У них нет имен, — сказал Хакенберг. — Я всегда называю их собаками. Мне нет нужды их различать, они и так всегда вместе.

Тем временем собаки сели и внимательно смотрели на Хакенберга. Оба были самцами, взрослыми

животными с густой и длинной шерстью. Когда мы вновь засобирались в путь, Хайстер прошел вперед, сел на лошадь и выдернул штандарт из земли. Хакенберг остался стоять с нами.

— Тот прапорщик, — спросил он, имея в виду Хайстера, — самый старший в полку?

— Да, — сказал Аншютц.

— А этот прапорщик, — указывая на меня, — молоде?

— Да, — сказал Боттенлаубен. — Ему тут особо нечем заняться, так как есть другой прапорщик старше, — казалось, он не воспринимал старика всерьез.

— Есть ли еще в полку прапорщики? — спросил Хакенберг.

— Нет, — сказал Аншютц.

— Соответственно, — заметил Боттенлаубен, — этот прапорщик здесь второй по возрасту.

— То есть, — сказал Хакенберг, взглянув на Боттенлаубена, — это также значит, что этот прапорщик, — он указал на меня, — должен будет взять штандарт, если первый, — указывая на Хайстера, — скажем, куда-то денется.

— Совершенно верно, — ответил Боттенлаубен.

Должен признать, что у меня возникло очень странное чувство, когда Хакенберг вдруг заговорил о неких обстоятельствах, при которых я мог бы нести штандарт. Внезапно я понял, что и сам об этом думал, но не хотел себе признаваться. И когда Хакенберг сказал о такой возможности, я уже знал, что думал об этом раньше. Хакенберг повернулся ко мне.

— Ты хочешь нести штандарт? — спросил он.

В тот момент я не знал, что на это ответить. Наконец я сказал:

— Да, почему нет. Но как я могу его нести? Хайстер старше меня. Это его право.

— Ну, — сказал Хакенберг, — может, он отдаст его тебе.

— Мне?

— Да.

— Но почему он должен отдавать его мне?

— Потому что это вполне вероятно. Давай спросим у него?

— Спросим?

— Да.

— Отдаст ли он мне штандарт?

— Да.

— Он не сможет.

— Почему?

— Потому что у него нет такого приказа.

— Но ты бы его взял?

— Да.

— Давай его позовем.

— Что же, — засмеялся Боттенлаубен. — Давайте!

— Что? — спросил Хакенберг.

— Спросим у прапорщика, захочет ли он передать знамя за спиной у полковника или нет.

— Граф, — сказал Хакенберг, — штандарты переходят в другие руки, даже если никто не хочет их передавать. А тут два прапорщика.

Мы посмотрели друг на друга, потом Боттенлаубен со смехом сказал:

— Зовите его!

Аншютц, тоже улыбаясь, крикнул:

— Хайстер! Пожалуйста к нам!

Хайстер повернулся в седле, остановил свою лошадь и, когда мы его догнали, спросил:

— Что случилось?

— Дело в том, — сказал Боттенлаубен, ухмыляясь, — что господин фон Хакенберг хочет спросить вас, не хотите ли вы передать знамя Менису.

— Хочу ли я передать знамя Менису?

— Да.

— По чьему приказу?

— Без приказа. По собственному желанию.

Хайстер посмотрел на Хакенберга и нахмурил брови. У него были черные блестящие брови, которые казались приклеенными к его довольно бесцветному лицу.

— Господин ротмистр, — сказал он резко и даже встревоженно, — почему у вас возникла такая идея?

— Ну-ну, — успокаивающе сказал Хакенберг, — вам не о чем беспокоиться.

— Кому пришла в голову эта идея?

— Какая идея?

— Спросить, хочу ли я отказаться от штандарта.

— Мне пришла в голову. Менис только сказал, что примет его, если вы отдадите.

— Что ж, — сказал надменно Хайстер, — ему придется долго ждать.

Ситуация все больше меня раздражала и казалась неуместной. И я уже собирался сказать Хайстеру, чтобы он не забивал себе этим голову. Однако Хакенберг опередил меня и произнес:

— О, не говори так. Штандарт тебе не принадлежит. В любой момент ты можешь его лишиться, а Менис его подхватит. Можешь заболеть или сломать ногу. Тогда он тоже его заберет. Тебя могут убить. Тогда он тоже ему достанется.

Хайстер выглядел слегка ошарашенным.

— Сейчас мы едем на фронт, — продолжал Хакенберг. — И тебя могут убить. Согласись с этим.

— Пожалуйста, — сказал Хайстер, — если вы так считаете. Но точно знать нельзя, погибну я или нет. Говорить об этом бесполезно.

— Что ж, — ответил Хакенберг, — вовсе не бесполезно.

— То есть?

— Вам же интересно было бы узнать, погибнете вы или нет.

— Конечно. Но поскольку этого никто не может предсказать, гадать по этому поводу бессмысленно.

— К смерти всегда нужно быть готовым, — сказал Хакенберг. — Кстати, предсказатели тоже найдутся. Цыган смог бы это сделать. Или цыганка. Верно?

Он смотрел на Хайстера, и мне все больше казалось, что поведение старика того действительно раздражает. Хайстер ответил не сразу, лицо его покраснело. На мой взгляд, было бестактно со стороны Хакенберга намекать на чью-то смерть, когда все мы отправляемся на фронт.

— Я не верю, — сказал Хайстер, — в способности цыган предсказывать будущее. Да и цыган тут никаких нет.

— Вот как? — спросил Хакенберг, забавно оглядываясь, словно бы в поисках цыган. — Тогда другие тоже могли бы погадать. Если хочешь, я мог бы попробовать.

— Вы, господин ротмистр?

— Да. Я не придаю значения таким вещам, да и предсказываю всегда неточно. Но те, кто меня знает, говорят, что иногда у меня получается. Дай руку. Правую.

Мы переглянулись. Попытка старика предсказать чью-то смерть произвела на всех нас тяжелое впечатление, только Боттенлаубен засмеялся и затряс своим большим кивером. Он потешался над предложением Хакенберга, но у меня возникло такое чувство, что вся эта ситуация сложилась неслучайно. Хайстер явно откуда-то знал Хакенберга. Я бы даже сказал, что они давно знакомы. Хайстер смотрел на ротмистра, как будто тот действительно знал будущее. Возможно, он был легковерен или суеверен. Хайстер снял правую перчатку и протянул ладонь Хакенбергу. Хакенберг взял его руку и стал рассматривать ладонь.

Тем временем мы подошли к бревенчатой дороге, той самой, по которой я проезжал и этой, и прошлой ночью. Путь был свободен. Сквозь заросли высохшего болотного тростника мы видели, что по мосту вверх все еще идут обозы. По одному мосту эшелоны шли с венгерского берега на сербский. По другому — с сербского на венгерский. И выглядело это вполне естественно, словно их и строили с этой целью. Перед нами по мостам серой змеей ползли колонны. Каски пехотинцев сливались в сплошную колышущуюся

дугообразную волну, музыканты играли марши. Их было слышно издалека, мелодию доносил ветер. За колонной проследовали две телеги, покрытые светлым брезентом, выгоревшим и казавшимся белым в тусклом осеннем свете. За мостом возвышалась Белградская крепость.

Хакенберг между тем все еще разглядывал руку Хайстера, затем снял правую перчатку и посмотрел на свою правую ладонь. Рука у него была узкая и загорелая. Остальные внимательно наблюдали за его движениями. Наконец, небрежным жестом он отпустил руку Хайстера и сказал:

— Я не хочу никого расстраивать предсказаниями близкой смерти. Нехорошо быть слишком точным в предсказании чьей-либо судьбы. Иначе в нее действительно может затянуть. Скорее, я хочу дать тебе некоторую свободу действий. Я скажу так: один из нас умрет. Ты или я, один из нас не переживет эту кампанию.

Он снова надел перчатку.

На Хайстера и на всех нас это сообщение произвело сильное впечатление. Прапорщик покраснел, но затем попытался рассмеяться и сказал:

— Ну и что? Это все? Теперь я знаю столько же, сколько и раньше! Когда ты говоришь мне, что один из нас умрет, это не сильно отличается от утверждения о том, что на войне каждый десятый или двадцатый солдат погибнет. Шансы для меня одинаковы. Я могу погибнуть или не погибнуть. Вот и все.

— Нет, — возразил Хакенберг, — если я говорю тебе, что один из нас погибнет, это значит, что погибнет один из двоих.

Мне казалось, он получает удовольствие от происходящего. Остальные не знали, что сказать. Только Боттенлаубен снова засмеялся:

— Ну и прекрасно! Но серьезно, — обратился он к Хакенбергу, — не стоит расстраивать прапорщика такими вещами, господин фон Хакенберг. Ему нужны железные нервы.

— Они у меня есть, — сказал Хайстер. — Никто не может предсказывать будущее. Так что меня совсем не трогает, когда кто-то делает подобные заявления. Но даже если бы я хотел поверить господину ротмистру, я все равно не знаю, кто из нас останется в живых. И мне, — добавил он, — так же мало интересна его дальнейшая жизнь, как и ему моя.

Хакенберг рассеянно выслушал его слова. Он задумчиво смотрел на бегущих перед нами собак, затем произнес:

— Тот из нас, кто мудрее, вероятно, останется в живых.

— Господин ротмистр, — сказал Хайстер, — как же узнать, кто мудрее? Люди не всегда получают пулю по глупости.

— Конечно, иногда так бывает. Более мудрый избегает ситуаций, которые бессмысленно подвергают его опасности, в то время как менее мудрый обычно недостаточно мудр, чтобы это понять. Более глупый — в невыгодном положении. Если мы захотим выяснить, кто из нас умнее, то есть простое средство.

— Какое?

— Будем по очереди задавать друг другу вопросы. Первый, кто не сможет ответить, проиграл. И он, соответственно, глупец.

— Это как-то по-детски! — воскликнул Хайстер. — Есть вопросы, на которые нет ответа. И вопросы о вещах, о которых другой не осведомлен. И это не будет доказательством глупости.

— Доверимся друг другу, — сказал Хакенберг, — будем задавать справедливые вопросы. В отношении меня ты можешь быть уверен, так и будет. Я думаю, что ты тоже будешь честен.

В этот момент наши лошади вступили на бревенчатую дорогу. Бревна гремели под копытами. Было уже видно, как мерцает за камышами Дунай. Музыка впереди нас стала громче. Оркестры заиграли «Марш принца Евгения», а пехотный полк с ходу двинулся на Белград.

Боттенлаубен ухмыльнулся спору Хайстера и Хакенберга и тряхнул кивером, на котором затрепетали дубовые листья, сказав:

— Ну, спросите о чем-нибудь приятном!

Хайстер, казалось, задумался, но внезапно сказал Хакенбергу:

— Можешь, господин ротмистр, для простоты сказать сразу, кто из нас погибнет? Но ты ведь не знаешь. Вполне возможно, что мы оба погибнем или ни один из нас. Ты просто ничего не знаешь. Однако, поскольку ты делаешь вид, что что-то знаешь о будущем, о потустороннем мире и тому подобном, и поскольку я заинтересован в этом в основном потому, что ты уверен в моей смерти на пятьдесят процентов, скажи мне: что происходит с нами, когда мы умираем?

Хакенберг на мгновение взглянул на Хайстера, одарил его улыбкой и ответил:

— Нас хоронят.

При этом он поднял поводья и снова уронил их на шею коня.

— Нет, — сказал Хайстер, — я имею в виду: если мы погибнем, то куда мы попадем?

— В списки погибших, — ответил Хакенберг.

— Нет, — воскликнул Хайстер, — я хочу знать: что от нас останется?

— Слава, — сказал Хакенберг.

Он насмешливо посмотрел на Хайстера. Пришлось признать, что он был абсолютно прав в своих ответах. Их простота была поразительной, и против нее нельзя было возразить. Особенно слава была чем-то, что должно было удовлетворить каждого солдата.

Но Хайстер придерживался другого мнения.

— Ты уходишь от ответа, — воскликнул он. — Ты ничего не знаешь и просто уклоняешься!

— Нет, — сказал Хакенберг. — Ты неточно задаешь свои вопросы. Ты спрашивал о вещах, на которые я не могу дать ответ. Не потому, что я не знаю, а потому, что ты мне неверишь. Тогда ты бы сказал, что я должен тебе что-то доказать. Вместо этого я дал только однозначно верные ответы. Или нет?

— Да, они верные, — сказал Хайстер, — но они совсем поверхностные...

— Как и твоя оценка ситуации, в которой мы оказались. Ты спрашиваешь о вещах, которые не понимаешь. В любом случае, ты задал свои вопросы. Но я не хочу быть мелочным. Задай мне другие вопросы! Теперь ты можешь спросить меня о вещах, которые я не обязательно должен буду доказывать, но которые

могут тебя интересовать. Например, хочешь знать о своем происхождении?

— Откуда я?

— Да. В конце концов, чем меньше вы знаете о своем происхождении, тем больше оно вас интересует. Ведь важно знать не только о том, откуда вы, но и то, о чем ты не спрашивал: а именно, что дальше. Тебе интересно узнать, откуда ты?

Этот вопрос вдруг привел Хайстера в замешательство, я не понимал почему. Но он успокоился и сказал:

— Если бы я это забыл, то посмотрел бы в приходской книге.

— Этого, — сказал Хакенберг, — может оказаться недостаточно. Есть много всего, чего нет в «Готском альманахе» и в других книжках в мягкой обложке. Здесь, например, за одним-единственным исключением, присутствуют славные люди, в основном дворяне, которые происходят от крестьян, а те, согласно легенде, произошли от богов. Это неплохое происхождение. Но об этом постоянно забывают. Если знаешь своих предков, расскажи о них сам. А теперь я задам свои вопросы, ответы на которые ты должен мне дать.

Хайстер попытался улыбнуться и высокомерно сказал:

— Пожалуйста! Я готов.

При этом он заметно побледнел, а я не мог понять, почему этот разговор так на него действует — похоже, он поверил в предсказание Хакенберга. Мгновение ротмистр задумчиво смотрел на своих собак, бегущих впереди нас. Тем временем снова послышалась музыка, теперь уже громче. Последний пехотный батальон

переходил мост перед нами, мы были не более чем в тысяче шагов от него.

— Вы все думаете, — сказал наконец Хакенберг, и было не совсем понятно, кого он имел в виду, — вы думаете, что вы благородного происхождения. Но, может, все обстоит иначе. Так что сначала скажи мне, кто ты.

— Кто я?

— Да, ты — кто ты и как тебя зовут?

Теперь Хайстер должен был, в своем духе, сказать, что вопрос нелепый. Однако вместо этого он вовсе не засмеялся, а странно застенчиво посмотрел на Хакенберга и ответил:

— Меня зовут Макс Эмануэль граф фон Хайстер.

В то же время он вновь побледнел и с этой минуты не спускал глаз с Хакенберга, как будто был околдован им.

— Хорошо, — сказал Хакенберг. — Ответ дать было несложно. И на второй вопрос ответ вряд ли будет труднее. Кто был твой отец?

Должен признать, что мы готовы были уже посмеяться над простотой этих вопросов, но почему-то не засмеялись, а Хайстер ответил:

— Мой отец был Карл Людвиг граф фон Хайстер, барон фон Тахшперг и Санкт-Магдалененкирхен, владелец фидеикомисса¹ в Портендорфе. Я его второй сын. После моего отца владельцем фидеикомисса является мой старший брат Октавиан.

¹ Фидеикомисс — родовое имущество, передаваемое по наследству в особом порядке, обычно старшему сыну, без права залога, отчуждения третьим лицам или дробления на части.

Тем временем Хакенберг смотрел на губы Хайстера и шевелил своими губами, как будто сам произносил эти слова. И в то же время он кивал головой, словно бы в знак того, что его устраивает каждое слово. Затем, когда Хайстер закончил, он сказал:

— Очень хорошо. А кем был твой дед?

Хайстер побледнел, как будто ему стало плохо. Он начинал ответ несколько раз, но ничего не получалось. Мы смотрели на него как замороженные. Хотя никто не понимал, что происходит, но несомненно, во всем этом было что-то чрезвычайно зловещее. Все мы ощущали растущее напряжение. В повисшей паузе лошади все так же продолжали шагать, гремела дорога, мы все ближе подходили к мосту. Последние ряды пехоты уже вышли на мост и переходили реку. Музыка стихла — из-за сильного ветра, сквозившего над водой.

На лбу у Хайстера выступил пот, и, наконец, он сказал тоном человека, у которого парализован язык и который все же пытается заговорить:

— Моим дедом был граф Леопольд фон Хайстер, владетель фидеикомисса в Портендорфе.

— Неверно! — сказал Хакенберг.

Внезапно его голос стал совсем другим, и он выпрямился в седле.

— Ваш дед был неизвестно кто. А отец был ребенком совершенно других людей. Настоящий Карл Людвиг фон Хайстер умер, когда ему было два дня от роду. Он был последним из пяти братьев и сестер; до него в семье рождались только девочки. Чтобы наследство не перешло в чужие руки, Леопольд Хайстер купил мальчика у цыган, разбивших лагерь недалеко

от Портендорфа. Вот кто твой отец. Ты сам это знаешь, это скрывали, но ты это знал. Если не так, возрази! Ты мог бы дать мне правдивый ответ, если бы захотел. Однако ты предпочел солгать. Но прапорщику нельзя лгать, особенно когда он несет штандарт. Бродягам штандартов не дают. Тебе придется его отдать. Я задал свой вопрос, а ты на него не ответил.

С этими словами он махнул рукой остальным и поскакал прочь от нас. Мы подошли к берегу. Перед нами лежал пустой мост. Хакенберг преодолел крутой склон, уходящий с дороги вниз, его конь передними копытами ступил на насыпь из дерева, земли и камней и поскакал вдоль реки. Собаки бежали перед всадником. Все они скрылись из виду в зарослях ив возле воды. Полк вступил на мост.

Хайстер был бледен, как мел. Он не мог произнести ни слова. Сильный порыв ветра, дувшего вдоль реки, подхватил штандарт и развернул его. Двуглавый орел засиял и протянул когти в сторону Белграда. Мы в смущении смотрели под ноги лошадям. Прежде всего, тот факт, что Хайстер не стал возражать Хакенбергу, лишил нас возможности сейчас обратиться к нему. Было совершенно непонятно, откуда Хакенберг знал то, что сказал. Но сам Хайстер, казалось, согласился с тем, что ему сказали; он действительно знал все это давно. Цыгане тоже могут быть честными людьми. Но тогда им не позволительно притворяться графами. Боттенлаубен, поскольку он сам был графом, расстроился больше всех из нас. Ситуация была очень неприятная. Мы чувствовали, что случившееся на наших глазах имеет большее значение, чем просто

ШТАНДАРТ

раскрытие подлога в семье. Тут было что-то, касающееся нашего прошлого вообще. Тем временем полк уже шел по настилу моста. Доски грохотали под сотнями копыт. Хайстер, не оборачиваясь, ехал впереди нас. Он сидел сгорбившись, а порывистый ветер терзал штандарт, словно его уже не было в руке Хайстера.

По другому мосту, в двухстах шагах справа, эшелоны шли с сербского берега на венгерский. Через несколько минут мы достигли середины реки. Весь полк Марии-Изабеллы, вероятно, уже был на мосту, а первый эскадрон тосканских улан был готов на него вступить.

Вдруг процессия позади нас остановилась.

8

Мы поняли это, потому что грохот досок за спиной внезапно стих. Мы сами, вместе со штабом, тоже остановились. Действительно, как ни странно, полки прекратили движение, как будто знали, что придется остановиться именно здесь. Затем наступила полная тишина, в которой было слышно только течение реки и свист ветра.

Мы повернулись в седлах, увидели шеренги по четыре человека, стоящие неподвижно, и Боттенлаубен произнес:

— Что это? Что происходит?

Лица четырех всадников в первом ряду — унтер-офицера и трех рядовых, — а также лицо трубача, остановившегося рядом с ними, имели странное выражение: унтер-офицер и трубач смотрели на нас почти смущенно, трое рядовых избегали смотреть на других, глядя прямо перед собой. Плоские славянские крестьянские лица выражали только одно, но это было достаточно ясно: они не хотят идти дальше.

— Ну и? — закричал Боттенлаубен. — Что случилось?

Подобный вопрос задавали и другие командиры своим солдатам. Тут и там офицеры и унтер-офицеры

разворачивали коней, чтобы крикнуть своим людям: «Вперед!» или «Продолжать движение!» Но никто из солдат не трогался с места. Полки остановились, словно их пригвоздило к мосту.

С другого моста вновь донесся грохот и гул эшелонов.

— Вот, — произнес Аншютц, роняя поводья на шею лошади, — началось!

— Что? — воскликнул Боттенлаубен.

— Мятеж.

Боттенлаубен отреагировал не сразу. Но несколько секунд спустя он медленно вытащил свою большую саблю, развернул коня и проехал несколько шагов назад к голове эскадрона. Штабные и генерал тоже развернулись и подъехали к нам.

— Что там? — спросил генерал.

Но никто не ответил.

Штандарт затрепетал в руке Хайстера, который тоже повернулся и рассеянно смотрел на всю картину — так, словно это было не его дело.

Боттенлаубен подъехал вплотную к одному из драгун в первой шеренге, почти что въехал в их строй. Ноздри его лошади едва не касались груди солдата.

— Вперед! — приказал он.

Но рядовой не двинулся с места. Он упрямо смотрел прямо перед собой, хотя близость ротмистра заставила его напрячься и он покраснел.

— Вперед! — крикнул Боттенлаубен, и голос его дрогнул.

Солдат по-прежнему не двигался с места, а остальные исподлобья косились на ротмистра.

Боттенлаубен выпрямился в седле, отвел руку как можно дальше и изо всех сил плашмя ударил саблей по шлему солдата. Последовал пронзительный звук, человек под тяжестью удара покачнулся, а лезвие сверкнуло как вспышка.

Мгновение длилось молчание, затем по рядам солдат пронесся ропот, который быстро перешел в крик, и в следующий момент весь полк, а также, вероятно, и колонна улан, все еще находившаяся на берегу, огласили окрестности таким ревом, какого я никогда прежде не слышал.

Этот рев сотряс воздух, он длился недолго, но казалось, что это не секунды, а минуты. Рев все не ослабевал, и не было никаких признаков того, что он скоро закончится. Рядовые, которые, как казалось, никогда не посмеют покинуть дивизию и отказаться от военной службы, ревели, их лица было не узнать. Мы не знали, что делать, и не могли отвести от них глаз. Мы догадывались, что что-то назревает, но не думали, что нечто столь странное и непонятное для нас, столь чуждое, скрывалось в их нутре. Они были похожи на вышедшее из-под власти пастуха стадо. И хотя солдаты не делали ничего, а только кричали, крик этот вытряхнул из них все, что делало полк полком, великим инструментом силы, полным смысла, единства, объединенным исторической миссией, орудием мировой политики. Казалось, что шлемы и мундиры, знаки отличия и кокарды с вензелями императоров опали с людей, что лошади и сбруя исчезли, а остались только нескольких сотен голых польских, румынских и русинских крестьян,

которые больше не чувствовали ответственности за судьбу мира под властью императора.

Офицеры пытались что-то друг другу сказать, но их больше не было слышно, они просто беззвучно шевелили губами. Колонны на другом мосту остановились, и люди оттуда смотрели на нас. Командир дивизии приказал дать команду «смирно!». Трубаچی за-трубили, и звук их труб сначала еле прорывался сквозь рев, но затем взял верх. Рев стих.

Снова наступила тишина, в которой шумели только ветер и река. Офицеры смотрели друг на друга.

— Мило, не правда ли? — сказал Боттенлаубен, глядя на обломок сабли, который он все еще держал в руке, и швырнул обломок в воду. В этот момент Йохен, остановившийся в конце эскадрона, выехал вперед, вытащил из ножен свою саблю и протянул ее ротмистру. Боттенлаубен взглянул на него, затем кивнул и взял оружие.

— Господин граф, — сказал Йохен, — ребята категорически не хотят идти дальше.

— Вот как? — вымолвил Боттенлаубен. — Категорически?

— Да. Они говорят, что если перейдут реку, то уже не вернутся. Там, мол, уже французы, и нас всех возьмут в плен. Должно быть, они слышали это от гусар.

Боттенлаубен повернулся в седле и взглянул на полковника. Мгновение спустя полковник прищипорил лошадь. Он ехал вдоль колонны и, дойдя до второго взвода нашего эскадрона, остановился, приподнялся в стременах и крикнул:

— Солдаты!

Лица рядовых обратились к нему.

— Кто, — громко спросил он, — приказал вам остановиться здесь?

Из колонны раздался глухой ропот.

— Ну? — крикнул он. — Кто отдал вам приказ, противоречащий моему? Я приказал идти вперед. Кто велел вам остановиться здесь? Я хочу, чтобы он вышел вперед и признался, что отменил мой приказ, и я призыву его к ответу!

Воцарилась полная тишина.

— Ну? — крикнул полковник, доставая пистолет и поднимая его. Никто не ответил. Полковник приставил дуло пистолета к груди ближайшего из солдат.

— Какой негодяй, — закричал он на него, — приказал тебе остановиться здесь?

В эту секунду все офицеры устремились к полковнику, намереваясь встать между ним и солдатами. Антон, остановившийся в конце первого эскадрона, вышел из строя и оказался рядом со мной. Он надул щеки, как обычно, когда случалось что-то неприятное, но я не обращал на него внимания.

— Итак, — кричал полковник солдату, — ответишь ты или нет?

Вокруг поднялся угрожающий гул. Солдат побледнел и заикаясь ответил, что никто приказа не отдавал.

— Почему же тогда, — заорал полковник, — вы остановились?

Солдат ответил что-то на своем родном языке, так что мы не поняли, но вслед за ним из шеренги вышел другой, высокий солдат с решительным округлым лицом и нахмуренными бровями, и ответил громко на

ломаном немецком: кто-то один не может нести ответственность, они все решили не идти дальше. В этот же момент из строя раздались громкие выкрики.

— Тишина! — скомандовал Боттенлаубен.

Крики стихли, и солдат продолжил: никто конкретно не приказывал солдатам не идти дальше, но весь полк не желает идти на другой берег. Потому что никто не хочет попасть в плен. Ситуация на фронте безнадежна, солдаты это хорошо знают, и поэтому еще в Караншебеше решили не идти дальше моста.

Никому из них даже в голову не пришло, что их арестуют или даже расстреляют на любом берегу только за невыполнение приказа.

Солдат говорил с нарастающим возбуждением, и ему вторили подбадривавшие его выкрики. Полковник спросил, не забыл ли полк о присяге, произнесенной несколько часов назад. Но солдат ответил, что люди ей больше не связаны. Они давали эту клятву не добровольно, а потому она ничего не стоит. Переходить на другой берег бессмысленно. Полковник должен взглянуть на другой мост, по которому возвращаются эшелоны. И все станет ясно. Полковник закричал, что не им решать, бессмысленно идти на фронт или нет. Солдат не может ставить под сомнения приказы. Но он уже не солдат, ответил тот человек, он русинский крестьянин, которого все немецкие и австрийские военные заботят не больше, чем грязь под ногтями. Когда солдат сказал это, в полковнике произошла странная перемена. Стареющий и, вероятно, уже больной человек поник головой, на лице его застыло выражение отвращения. Он убрал пистолет,

словно тот больше ему не понадобится, повернулся к генералу и официальным тоном произнес:

— Ваше превосходительство, я жду дальнейших распоряжений.

Наступила пауза. Генерал задумался и посмотрел на нас. Затем наклонился к своему адъютанту и что-то тому прошептал. Адъютант выпрямился, отдал честь и поскакал в сторону венгерского берега. Мы смотрели ему вслед. Антон, стоявший рядом со мной, откашлялся, затем наклонился ко мне и довольно громко сказал:

— Ну так!

— Что — так? — рявкнул я ему.

— Вот где мы оказались с этим полком, господин прапорщик! А все из-за этой истории в Белграде!

— Молчать, — прошипел я, — подобное могло случиться и с нашим прежним полком!

Антон пожал плечами.

— Хватит! — резко сказал я ему. — Если ты будешь действовать мне на нервы, я просто сброшу тебя в воду! С тобой-то я справлюсь!

Нашу перепалку прервал командир дивизии. Он повысил голос и крикнул:

— Полковник! Сообщите солдатам, что, если они не выполнят приказ, я прикажу открыть огонь! Я велел своему адъютанту передать это распоряжение Германскому Королевскому полку.

Полковник мгновение смотрел на генерала, затем повернулся к солдатам и открыл рот, чтобы что-то сказать. Однако едва он произнес несколько слов, как внезапный приступ кашля лишил его возможности

продолжать. Он поднес носовой платок к губам, затем сказал, все еще прерываемый кашлем:

— Граф Боттенлаубен, скажите солдатам.

Боттенлаубен встал в стременах. Он возвышался над всеми нами и закричал поверх голов своим самым зычным голосом:

— Если полк не двинется вперед, его превосходительство прикажет полк расстрелять.

Ответом ему был ропот и, похоже, смех. Солдат, который говорил с нами прежде, подъехал на лошади к Боттенлаубену и крикнул:

— Кто прикажет?

— Его превосходительство! — воскликнул Боттенлаубен.

— И кто, — крикнул в ответ солдат, — будет стрелять?

— Те, — крикнул Боттенлаубен, — кому прикажут!

— И кто, — крикнул солдат, — это будет? Господин ротмистр считает, что из четырех полков найдется один, в котором согласятся стрелять в своих товарищей?

— Парень, — прорычал Боттенлаубен, — держись от меня подальше со своей грязной лошастью, иначе пожалеешь!

С этими словами он пришпорил коня и наскочил на солдата, да так, что тот повалился на доски моста вместе с лошастью. Последовала беспорядочная толкотня, люди заметались, лошади потеряли строй. Боттенлаубен, шерсть на его меховом кивере, казалось, встала дыбом от возмущения, нависал над упавшим драгуном. Но в этот момент общее внимание отвлек-

ло иное движение. На берегу, с которого мы пришли, кавалерия прорывалась на другой мост. Это был Германский Королевский полк. Он оттеснил эшелоны в сторону. Всадники спешили, сняли с себя винтовки и стали занимать позиции на мосту.

Несколько сотен драгун выстроились вдоль моста, лицом к нам и положили свои карабины на ограждение. По бокам разворачивались пулеметные отряды. Наши солдаты с недоверием наблюдали за их действиями. Но когда стало очевидно, что Германский Королевский действительно готов стрелять в нас, солдаты возмущенно загудели. Генерал и его офицеры кричали солдатам, понимают ли те, что будет, если они не подчинятся. Что есть еще полки, которые верны долгу. И они *будут* стрелять.

Из полка на другом мосту кричали нашим солдатам, что они знают, что значит стрелять в товарищей. Но они это сделают, потому что они немцы и подчиняются приказам. Наши солдаты в ответ разразились лавиной проклятий. В какой-то момент несколько рядовых собрались вместе, и казалось, что на генерала вот-вот нападут. В тот миг он вполне мог отдать роковой приказ. Но вместо него прозвучал звук одной-единственной трубы. Она подавала сигнал: «Огонь!»

В следующее мгновение все превратилось в ад. Вдоль всего ограждения моста, на котором стоял Германский Королевский полк, а также с берега раздался сухой треск, как будто зеленые еловые ветки падали в огонь. Но из-за того, что выстрелы были нацелены прямо на нас, для нас это звучало как хлопки возле наших ушей. Долю секунды спустя завывающий град

пуль достиг нас, и в мгновение ока вся наша колонна распалась, по мосту заметались десятки и сотни людей и лошадей. Одни всадники перепрыгивали через перила и бросались в реку, другие спешили и пытались открыть ответный огонь или стреляли прямо с седла; лошади без седоков понеслись в сторону Белграда. Вода зарябила под ударами пуль, как в сильный град. После первых же выстрелов Хайстер зашатался в седле. Его лошадь кружилась волчком, а он цеплялся за ее гриву. Штандарт уже должен был вот-вот выскользнуть из его руки, когда капрал Йоханн Лотт рванулся к прапорщику и подхватил древко. Хайстер упал на мост. Он больше не поднялся, а его лошадь умчалась прочь.

В этот момент полковник, по лицу которого текла кровь, галопом приблизился к нам, сказал что-то капралу и указал на меня. Капрал поскакал ко мне и вручил мне штандарт. Полотнище трепетало на ветру, и на мгновение мне показалось, что не Лотт протянул мне его, а Хакенберг. Все лица исчезли в этот миг. Как только я взял в руки обтянутое бархатом древко, пуля выбила капрала из седла. Но я едва это заметил. Штандарт был у меня! Жизни других рушились вокруг, а штандарт стал моим! Вокруг творился ад, но штандарт был со мной! Внезапно я понял, что с того самого момента, когда увидел его, я знал, что так и случится. Я получил его в тот момент, когда полк, знаменем которого он был, прекращал свое существование. Но он-то у меня был! У меня был штандарт! Мазепа подо мной встал на дыбы. Я высоко поднял руку, и штандарт взвился у всех над головами. В своей

стихии он бился, трепетал и развивался над ранеными и мертвыми, к виду которых он привык, над всеми, кто пал и кто еще воевал. Внезапно Мазепа запнулся и упал на мост.

Пуля угодила ему в плечо. Я вовремя успел вытащить ноги из стремян, поднялся и огляделся. Мост представлял собой ужасающее зрелище. Он был почти пуст. Почти все, кто только что проезжал по нему верхом, теперь лежали на окровавленных досках. Русинский священник проехал вдоль останков полка, осеяная распятием живых и умирающих. Наконец выстрел сбил и его лошадь.

В этот момент рядом со мной снова появился Антон. Он выпрыгнул из седла и протянул мне поводья Гонведгусара.

Его лицо было спокойно. Он отдал мне коня, как если бы это было одно из тех действий, которые он должен был выполнять каждый день в качестве слуги. После секундного размышления — не ради меня, а ради штандарта. Антон держал седло, когда я садился на лошадь.

В тот момент я безгранично уважал старика и простил ему все, что когда-либо меня раздражало. Несмотря на его чудные привычки, он был одним из последних — из тех лучших времен, которых больше никогда не будет, а теперь вероятность их возвращения стала еще меньше, чем когда-либо. Но у меня уже не было времени размышлять об этом. Сидя в седле, я увидел, что над остатками полка и над эскадронами улан развеваются белые тряпки, которые некоторые солдаты подняли на остриях своих сабель. Мятежники

сдались. Огонь сразу же прекратился. Эхо последних выстрелов прокатилось по стенам высокой крепости над Белградом. Мост был усеян убитыми и ранеными людьми и лошадьми. По всей длине моста на ногах осталось не более ста пятидесяти человек, многие из которых были ранены, а лошади без всадников с волочащимися поводьями время от времени проносились назад и вперед. К ним бросились офицеры — кто был еще жив.

— Вперед! — кричали они.

Боттенлаубен, оскалив зубы, мчался по мосту и кричал осипшим голосом:

— Вперед, ребята! Марш вперед, или я вырву ваши бараньи ноги!

Мундир его на спине был разодран и весь в кровавых пятнах. Полковник, истекая кровью и изо всех сил стараясь удержаться в седле, занял место во главе полка. Я со штандартом следовал за ним. Появился и Аншютц, лишившийся лошади. Кох был ранен, Чарторийский убит. От эскадронов осталось не более трети. Я увидел, что Георг лежит в луже крови рядом с Фазой. Она не двигалась. Несколько штабных офицеров все еще были верхом и ехали впереди. Первый эскадрон улан был рассеян, сильно пострадав от огня. Кляйн поддерживал полковника в седле. Йохен лежал под упавшей лошастью. Всего огонь велся не более минуты или полутора. Но полка уже практически не было. Оставшиеся в живых солдаты бежали от нас. Раненые все так же лежали на мосту. Сейчас нужно было просто перейти на другой берег, просто выполнить приказ. Уланы, а за ними драгуны полка Кейта, пришли в движение и

строились на мосту напротив нас. Трубили двое или трое трубачей. Германский Королевский полк покинул второй мост, драгуны вернулись к своим лошадям. Несколько тел — солдат и лошадей — плыли по реке.

Кляйн передал команду полковника трогаться шагом. Штандарт в моей руке задрожал, а люди, те, кто мог двигаться, пошли вперед. Так, расстрелянный, обескровленный, частично верхом, частично пешком, полк последовал за штандартом к Белграду.

Улицы города были совершенно пусты, но в окнах домов и на плоских турецких крышах толпились потрясенные жители, только что наблюдавшие, как полки сражались друг с другом. К нам бежали вестовые, чтобы поговорить с командиром. По улицам за нами тянулся кровавый след, мы дошли до так называемого Большого рынка. Здесь полковник все же упал с лошади. Адьютант и трубач соскочили с коней, подняли его и попытались уложить удобнее. Все, кто был позади нас, остановились.

Командир дивизии развернул лошадь и посмотрел на лежащего без сознания полковника, затем перевел взгляд на остатки нашего полка.

— Кто, — крикнул он, — здесь следующий старший офицер?

Ротмистр Чарбинский из третьего эскадрона выступил вперед.

— Вы принимаете командование этим полком, — приказал генерал, — пока он не будет выведен из состава дивизии и отдан под трибунал. С такими солдатами, — он махнул рукой за наши спины, — лучше не выступать против врага. Расквартируйтесь где-нибудь в городе.

Сказав это, он с презрением отвернулся. Краска залила нам лица. Чарбинский же склонился к шее своей лошади. Я представил себе его лицо, успев увидеть улыбку под монгольскими усами. Во время этой сцены остальные полки прошли мимо нас по улице Короля Милана, а затем вверх по бульвару Короля Александра: сперва тосканские уланы, также сильно поредевшие, за ними следовали драгуны полка Кейта. Лица солдат были мрачными, некоторые из них что-то кричали нам, но я не понимал их языка. За полком Кейта последовали пулеметные команды, затем обоз, и, после всех, появился Германский Королевский полк, чьи офицеры и солдаты, увидев, что мы остановились, закричали нам, что мы должны позаботиться о наших раненых, которые все еще находятся на мосту, потому что понтоны вот-вот окажутся затоплены. Выяснилось, что понтоны настолько повреждены стрельбой, что теперь вода проникала через множество пулевых отверстий и начала их заполнять. Наши люди, которые тем временем без команды спешили и перевязывали друг другу раны, побежали, а некоторые поскакали один за другим обратно к реке.

Остались лишь несколько человек, растянувшихся на мостовой от слабости, и лошади без всадников, стоявшие возле них. Я тоже спешил и воткнул штандарт в землю между брусчаткой. Парча теперь вяло обвисла — словно измученный орел сложил крылья. Адъютант, Антон и один из трубачей подняли полковника и перенесли его в ближайший дом, а Боттенлаубен и Аншютц, оседлав упряжных лошадей, поскакали вниз к Дунаю. Стук копыт Германского полка затих,

и я остался со штандартом, полуживыми солдатами на земле и лошадьми, стоящими прямо на площади. Это было все, что осталось от полка, чье знамя я нес.

Горожане по-прежнему смотрели на нас из окон домов, не решаясь выходить на улицу, видимо, опасались, что в любой момент мятеж может продолжиться. Хотя этот народ был нашим противником, ужас перед возможной катастрофой, подобной нашей, все же читался в глазах людей. Начало смеркаться, огромные облака зеленоватого цвета плыли по небу; в фантастическом отражении сверху, из окон, казалось, смотрели, вместо лиц, маски смерти. Я наклонился к Гонведгусару, посмотрел на штандарт перед собой, закурил сигарету и попытался успокоиться, но все равно чувствовал, что на меня смотрят. Через несколько секунд я не выдержал, выпрямился и крикнул:

— А ну прочь!

В мгновение все зрители исчезли, окна захлопнулись. Наши люди, добежавшие или доскакавшие до Дуная, обнаружили, что мост частично уже погрузился под воду. Раненые пытались выбраться из воды на берег или плавали в реке, держась за упавшие балки. На берегу им помогали добровольцы из местных больниц и добросердечные горожане, которые, как могли, спасали несчастных. Течение реки подхватило тонущие понтоны, уносило прочь доски, тела солдат и лошадей. Несколько якорей вырвались из дна, и мост начало сносить вниз по течению. Наши люди пробежали по мосту так далеко, как это еще было возможно, и на брезенте волокли раненых к берегу, когда мост примерно посередине разорвался, и запруженная вода

высвободилась, снося лодки, балки, раненых и мертвых. Некоторые с криками пытались добраться до берега, надеясь, что смогут спастись. Но через несколько минут моста не стало, а поверхность реки покрылась плавающими обломками.

Второй мост тоже сильно пострадал от пуль: ведь некоторые из наших солдат пытались отвечать Германскому Королевскому полку, несколько понтонов тоже были на грани затопления, и грузовым эшелонам пришлось остановиться. Но мост в целом все же выдерживал натиск реки, и уже прибыли саперы с приказом починить его за вечер и за ночь, чтобы утром по нему снова можно было проехать. Но от первого моста не осталось ничего, кроме крайних понтонов, лежавших на песчано-галечных отмелях у берегов, а еще бревна и доски.

Спасенные раненые были переданы в больницы. Из воды на берег вытащили несколько мертвых тел. Они лежали в ряд с накрытыми лицами. Когда наши люди вернулись, уже стемнело. Солдаты поймали лошадей, разбежавшихся по площади, а спотыкающихся от усталости животных увели сердобольные горожане. На город упало несколько крупных капель, а еще через несколько минут пошел сильный дождь. Солдаты и лошади жались к стенам домов, под крыши, некоторые устроились у дверей на ступенях. Я вытащил древко штандарта из брусчатки и унес под выступающую крышу, где уже собрались остальные офицеры. Все молчали. Лошади, опустив головы, стояли под проливным дождем. В домах зажигались огни. Перед освещенными окнами дождь казался струями сверкающего серебра. Уличные фонари раскачивались

на ветру. Мы ждали возвращения вестового, которого Чарбинский послал к коменданту города, чтобы узнать, какие квартиры мы можем занять. Тем временем на улице Короля Милана показался всадник, он скакал в сторону рынка. Заметив нас, он огляделся и приблизился. Это был Багратион.

— Наконец-то! — закричал он, завидев меня. — Наконец-то я тебя нашел!

Он соскочил с коня и подошел к нам.

— Я уже час тебя ищу, — сказал он. — Я поехал в ставку дивизии, но мне сказали, что тебя там больше нет. Я потерял довольно времени, меня уже не должно быть здесь.

— Не должно быть здесь? — спросил я.

— Да.

— Вы куда-то отправляетесь?

— Да.

— Кто именно? Штаб армии?

— Да. Я тоже не должен был сейчас приезжать, но Ланг устроила там такой скандал, что Орбелиани разрешил мне пойти и поискать тебя.

— Ланг устроила скандал?

— Да. Она пришла, плакала и хотела знать, где ты. Мы сказали, что не знаем, но она закричала, что мы должны знать, и была так убедительна, что все разбежались, а Орбелиани сказал, что я должен пойти искать тебя.

— Вот как? — сказал я, потому что не знал, что еще ответить.

Остальные смотрели на меня, наступила тишина, затем Чарбинский спросил:

— Значит, штаб армии уезжает?

— Да, — ответил Багратион.

— Куда?

— В Венгрию.

Офицеры переглянулись. Я отвел Багратиона в сторону.

— Послушай, — сказал я, — передай Резе, что я целую ее руки, но сейчас я не смогу ее увидеть. Я не могу уйти отсюда. У меня штандарт. Хайстер погиб, и штандарт теперь мой. Может быть, завтра я смогу ее увидеть. Мы останемся здесь, в городе. Пожалуйста, скажи ей, что я благодарен ей за то, что она прислала тебя ко мне, и надеюсь увидеть ее завтра.

— Завтра? — переспросил он. — Завтра, возможно, ее здесь уже не будет.

— Почему?

— Эрцгерцогине рекомендуют уехать. Может быть, и весь город будет эвакуирован.

— Город будет эвакуирован?

— Возможно.

— Но у нас есть приказ оставаться!

Багратион пожал плечами.

— А где сейчас фронт? — спросил я.

Он покачал головой.

— Так где? — спросил я.

Он закурил сигарету.

В этот момент на площади появился еще один всадник, он спешил и вручил Чарбинскому бумагу. Чарбинский прочел ее, положил в карман и приказал садиться на коней. Нам было приказано разместиться в кавалерийских казармах на улице Короля Милана. Поскольку солдаты, похоже, не слишком торопились

выйти и делали вид, что заняты с походными палатками, Боттенлаубен крикнул:

— Всем выйти и по коням!

Люди послушались.

— В любом случае, — сказал я Багратиону, — умоляю тебя, передай Резе, что если не завтра, то я надеюсь увидеть ее как только смогу. Но сейчас это невозможно. Тем не менее спасибо тебе, что ты пришел, и я так благодарен Резе, что она послала тебя ко мне. Прощай!

С этими словами я пожал ему руку, он перекинул через шею лошади поводья и сел в седло. Затем, поколебавшись мгновение, сказал:

— Она очень тебя любит.

Я промолчал, не глядя на него.

Наконец я все же сказал:

— Я не могу сейчас оставить штандарт.

Он ничего не ответил. Через мгновение я вскочил в седло, подхватил штандарт и устроил его рядом с собой. Багратион еще раз взглянул на меня, потом отдал честь и ускакал. Мы выстроились в два ряда с теми, кто потерял лошадей, и были готовы двинуться в путь. Вскоре мы полностью вымокли. Боттенлаубен, проезжая вдоль нашей небольшой колонны, грозно смотрел в лица солдат. Чуть поодаль от него ехал Чарбинский, его меховой воротник был поднят, он не оглядывался, а дождь капал с кончиков его усов.

Наконец прозвучала команда отправляться. Дождь стучал по нашим шлемам и по одежде стекал в сапоги. Вода с карнизов по сточным трубам устремлялась вниз на тротуар, лилась с промокнувшего штандарта, полос-

кавшегося над головой, мне на плечо. Пока мы ехали по улице Короля Милана, я на мгновение подумал, а не повидаться ли мне все-таки с Резой. Но вдруг стало слишком трудно думать о ней, меня охватило странное безразличие. Наверное, я устал, я не спал несколько ночей и не мог сосредоточиться. Перед глазами проносились какая-то путаница образов, которую я больше не контролировал. В мыслях теснились всадники в облаках пыли, грохот стрельбы, лицо полковника, лица убитых, лица в окнах на рыночной площади, и лишь лица Резы не было.

Оказалось, что нам нужно было проехать всего пару минут, и мы добрались до своих квартир. Но тут нам сразу сказали, что мы не сможем заселиться — комнаты давно заняты ранеными с фронта.

— Но у нас есть приказ расположиться здесь, — сказал Чарбинский.

— Возможно, — ответили ему.

Но внутри нас не пустили. Там уже лежат раненые, о которых необходимо позаботиться.

Мы опять стояли под проливным дождем. В конце концов нам посоветовали посмотреть помещения в здании школы напротив. Там лишь часть комнат была занята ранеными.

— Но нам нужны конюшни, — сказал Аншютц.

Ему ответили, что свободных конюшен для нас нет, там тоже лежат раненые. Мы направились к школе, большому многоэтажному зданию, и спешили. Еще сидя в седле, я устало воткнул штандарт в землю. Оказавшись на ногах, я вытащил его и, сжав древко в руке, пошел за остальными внутрь школы.

Наши комнаты были заставлены школьными партами из тех помещений, где положили раненых. Мы ставили скамейки друг на друга, чтобы освободить как можно больше места. Солдаты разместились в аудитории для рисования и в двух классах, а офицеры — в нескольких смежных кабинетах и комнатах, в которых слуги уже начали готовить постели из свернутых одеял. Затем мы попытались провести в дом лошадей. Было непросто заставить их подняться по ступенькам на первый этаж и устроить в спортивном зале и в нескольких классах рядом. Выглядело это довольно абсурдно: они пугливо смотрели на гимнастические снаряды и, боясь поскользнуться, искали глазами соломенные подстилки. Некоторые так и не пошли по ступеням, и их пришлось оставить во дворе. Это была совершенно гротескная картина — армия, размещенная в школе. Нам доводилось располагаться в разных местах: в амбарах, на первых этажах усадеб, даже в церквях, но школа с ее натертыми полами, по которым скользили копыта лошадей, была, наверное, самым неподходящим местом.

Когда со штандартом на плече я наконец поднялся по лестнице в наши комнаты, меня захватили воспоминания о давно забытых школьных уроках. Полы блестели мастикой и пахли так же, как тогда, когда я был школьником, и этот запах смешивался с запахом дезинфекторов, которыми обрабатывали туалеты, и с карболкой из комнат с ранеными. Один угол кабинета, ставшего моим пристанищем, до потолка был заставлен партами, в другом углу на полу Антон пытался сделать мне постель из старых накидок для верховой езды,

которые сумел найти. Свой багаж и седло я потерял вместе с Мазепой. Толкнув дверь в соседнюю комнату, я увидел, что это кабинет естествознания — с витринами, полными блестящих камней и рыб, с чучелами, между которыми стояли скелеты кошки, куницы, собаки и скелет человека. Я закрыл дверь и открыл следующую. В этой комнате поселился Боттенлаубен, здесь было тепло, на столе стоял обед. Боттенлаубен с обнаженным торсом перевязывал крест на крест рану на спине. Похоже, это была просто ссадина.

Я вернулся к себе и воткнул древко штандарта с шипом на конце в деревянный пол посреди комнаты, и оно застряло в досках с глухим вибрирующим звуком.

Потом я снял шлем и вещи, которыми по-прежнему был увешан. Я не хотел садиться на одну из нелепых детских скамеек, поэтому стоял и смотрел на Антона.

— Итак? — наконец сказал я.

— Итак, — сказал он, взяв мою шинель и складывая ее, чтобы положить на постель в качестве подушки, — мех мокрый, а наши вещи пропали. Мазепа мертв, Фазу застрелили, Георг ранен, но его смогли вынести на берег. Лейтенанта барона Коха тоже вытащили. Князь Чарторыйский пал, а граф Хайстер погиб одним из первых. Вещи в сумках Мазепы, конечно, пропали. Полковника ранили дважды, когда я уходил, он все еще был без сознания, лейтенант Кляйн остался с ним. Второе одеяло господина прапорщика, которое было у Георга, тоже пропало. Лейтенант фон Брёле погиб, а обер-лейтенанты Фабер и Кёметтер, веро-

ятно, утонули: они были ранены, но их не смогли вынести с моста, потому что они лежали далеко от берега. Йохен, слуга графа Боттенлаубена, убит. У меня было несколько вещей господина прапорщика в сумках Гонведгусара, все остальное пропало. Тридцать четыре человека ранены, несколько убитых доставлены на берег, остальных унесла река. Многих злодеев Господь спас, они оказались далеко от стрелявших.

Он говорил о происшедшем просто, называя имена и факты, и я был поражен, что он так много успел узнать.

— Я буду, — продолжал он, — если господин прапорщик позволит, служить и графу, потому что у него больше нет его помощника, а господин прапорщик сможет пользоваться умывальными принадлежностями графа. Я справлюсь, и еще буду прислуживать за столом, чтобы господам не пришлось смотреть на бунтовщиков. Мне тоже не хочется садиться за один стол с этими свиньями.

Я был так поражен его речью и его непривычным, смущенным тоном, ведь его роль казалась ему чрезвычайно почетной и важной, что только сказал:

— Хорошо.

Он поправил свои белые перчатки и пошел к Боттенлаубену, я постоял некоторое время, затем пошел за ним. Кроме Чарбинского, нас и одного адъютанта присутствовали еще двое офицеров из третьего и пулеметного эскадронов — лейтенант Салаи и лейтенант фон Вайс, а также провизор и главный бухгалтер. Кляйн за столом сообщил, что солдаты принесли полковника, когда он очнулся после потери сознания.

Затем Чарбинский взял слово и, обращаясь ко всем, долго говорил в своей велеречивой польской манере, но говорил он о посторонних вещах, а не о нашем положении, пока Боттенлаубен, наконец, не прервал его и не спросил, как он представляет себе следующий шаг и что с нами будет.

— Что вы имеете в виду? — спросил Чарбинский.

Боттенлаубен имел в виду, следует ли наказать зачинщиков, на совести которых кровь других солдат, или же сейчас нельзя подвергать их преследованию и арестовывать.

— Ну, — сказал Чарбинский, прикуривая сигарету от свечи, переданной ему Антоном. — Мы, вероятно, могли бы дожидаться приказа, что нам делать, но тогда они точно попадут в военно-полевые суды. Впрочем, никто не верит, что есть явные лидеры. Солдаты уже заявили, что действовали сообща и единодушно, так что будет очень сложно обвинять кого-то по отдельности в том, что все сделали вместе.

— Во-первых, — ответил Боттенлаубен, — я не верю, что такой мятеж мог возникнуть без агитаторов; во-вторых, даже если бы их действительно не было, ответственность должны нести все.

Чарбинский какое-то время искоса смотрел на него, затем сказал:

— Вы, вероятно, недостаточно хорошо знаете наших людей, чтобы понять, что на самом деле значит их отказ воевать. С этих простых русинских крестьян нельзя спрашивать, как с немцев. Даже в погонах они все равно остаются крестьянами. А большинство из них остаются русинами. Их интересы сильно отлича-

ются от наших. Те, кто разделяет наши интересы, — офицеры и унтер-офицеры, свой долг выполнили. С другой стороны, в этих солдат нужно было вселять дух воинов, которым они, естественно, не обладают. Они слишком примитивны для этого. В них смогли воспитать определенную воинственность, но это все. К какой еще ответственности вы хотите их привлечь? Расстрел Германским Королевским полком был уже весьма суровым наказанием. Вы не согласны? Двух третьей полка уже нет. Что еще вам нужно?

— Все не так просто, как вы представляете, — ответил Боттенлаубен, — я не думаю, что ваши солдаты такие. Если бы вы их вовремя обучили, что значит быть солдатами, а не стадом галицийских овец, то не нужно было бы учить их этому сегодня, ценой сотен убитых и раненых.

— Вы думаете? — ответил Чарбинский. — Что ж, может быть, изначально было ошибкой делать из них солдат. В любом случае, это было сделано без особых размышлений, так что теперь не стоит удивляться, если они не хотят наступать. Эти люди, совершенно не заинтересованные в войне, уже четыре года служат в австрийской армии. Как долго, по вашему мнению, они должны продолжать бороться за чужие идеалы? И ведь они не выступили против офицеров, они просто хотели домой. Разве не так?

— Вы хотите, — закричал Боттенлаубен, — выступить перед ними с речью, может быть?

— Нет, — ответил Чарбинский, — я хочу помешать вам свалить всю вину на них, потому что они так же виноваты, как и вся эта система! Я вовсе не хотел

говорить об этом, но вы начали это, поэтому давайте сменим тему. Расследование никому не принесет славы. Во всяком случае, что касается меня, то я не стану предпринимать что-либо против них и никому из вас не советую этого делать. Полк настрадался. И если события будут развиваться дальше так же, как сейчас, то никакого расследования и судебного разбирательства не будет. По крайней мере, я на это надеюсь. Потому что тоже его боюсь.

— Что вы имеете в виду?

— Я думаю, что призывать к ответу будем не мы, а рядовые призовут к ответу нас.

— Вот как?

— Да. На нас тоже лежит ответственность.

— О чем вы? Мы выполняли свой долг!

— Совершенно верно, — сказал Чарбинский.

Он закурил следующую сигарету. Затем мельком взглянул на Боттенлаубена, но, увидев, что тот собирается что-то сказать, прервал его, задав вопрос лейтенанту фон Вайсу. Вайс ответил, и Чарбинский завел новый разговор совсем о другом. Он сидел так же небрежно, как небрежно свисали вниз его монгольские усы. Он говорил о том и о сем и полностью контролировал разговор, касаясь лишь ничего не значащих тем, как и хотел.

Около десяти он встал, сказал, что погребение наших погибших назначено на завтрашнее утро, и отклонился.

Когда он ушел, наступила тишина. Затем Боттенлаубен посмотрел на нас и сказал:

— Ну? Что теперь скажут господа офицеры?

Аншютц несколько раз постучал спичечным корбком по столу, затем отложил его и произнес:

— У этого Чарбинского, очевидно, совершенно иные отношения с рядовыми, чем у нас. Он поляк, а корнями, думаю, даже русский. Внешне он ведет себя как императорский офицер, а внутри такой же, как русины, хотя он с ними не братается. Польский пан умеет держать дистанцию со своими холопами. Но он определенно считает их своим народом, понимает их лучше, чем мы. Возможно, он прав со своей точки зрения, а мы правы со своей. Просто взгляды наши не совпадают. Кроме того, я не думаю, что он не знает, как следует поступать. Очевидно, что было недальновидно с вашей стороны, граф Боттенлаубен, указывать ему на обратное, что и заставило его сопротивляться вашему призыву что-то предпринять. Он имеет право ждать судебного расследования, не проводя никаких дополнительных действий.

— Но он же сомневается, — воскликнул Боттенлаубен, — что такое расследование когда-либо состоится. Вы же слышали!

— Да, верно, — сказал Аншютц. — Но на самом деле существует достаточно предпосылок к тому, чтобы не проводить расследование. И я сам, если хотите знать, против него.

С этими словами он поднялся, мы тоже поднялись и, поскольку никто не знал, о чем еще говорить, стали прощаться с Боттенлаубеном, который, засунув руки в карманы, сидел за столом и смотрел прямо перед собой. Все ушли, я задержался. Он наконец поднял глаза и пожал плечами, я поклонился ему и пошел в свою комнату.

Штандарт стоял строго вертикально, а его полотнище колыхалось от сквозняка. Когда я открыл дверь, ленты на древке приподнялись, но затем снова опали, а металл наконечника сверкнул золотой молнией.

Я закрыл за собой дверь. Впервые я остался наедине со штандартом.

Когда его носил Хайстер, я видел штандарт только издали. Теперь его носил я, и все взгляды были обращены ко мне. И вот мы оказались с ним наедине. Но как только я вошел, ленты наверху отлетели назад, как будто он отпрянул от меня, и теперь, хотя здесь больше никого не было, приблизиться к нему стало несравненно труднее, чем когда несешь его перед полком или крепишь в кронштейн. Он подобен женщине, к которой, кажется, легко подойти, но когда подойдешь — понимаешь, насколько она неприступна!

Этот маленький штандарт был во многих руках, но остался так же чист, как в час своего освящения. От золотого наконечника исходили пронзительные лучи, которые извещали всех, что он — знак империи, что он сам, штандарт, святой, имперский, суверенный, несет на себе орла, распростершего свои крылья над Францией, Миланом, над морями, Фландрией, над Зентой и Сланкаменом, Мальплаке, Асперном, Лейпцигом, Кустоцкой и Колином. Торжественный аромат священных благовоний¹, сладковатый запах крови побед, горечь лавровых венков все еще таились в складках ткани.

¹ Имеется в виду полевая месса, богослужение для солдат в полевых условиях.

Я медленно подходил к штандарту, но было бесконечно трудно приблизиться к нему. Я нерешительно протянул к нему руки, чтобы не напугать его, словно к благородному дикому животному, с которым еще не знаешь, как себя вести, но мои руки были пусты, я шел с пустыми руками, я больше не мог нести этот флаг перед эскадронами, как мои предшественники. Мои руки были всего лишь руками прапорщика мятежного полка, последнего из бесславных времен. В конце концов я прикоснулся к парче, как будто коснулся локонов невесты, — она была мягкой, как волосы девушки. Сегодня была брачная ночь, но я праздновал ее не с той, с которой обещал встретиться, а с этой, что была чище любой девушки.

На следующий день, 3 ноября, в полдень похоронили погибших.

Бригады сербских крестьян выкопали на кладбище могилы для тех, кто умер в больницах. Мы шли к кладбищу пешком, лил дождь. Позади нас рядовые несли мертвых. По дороге навстречу нам прошли несколько солдат. Еще утром мы слышали звуки марша и отправляющихся эшелонов. На кладбище уже была готова яма в два метра шириной и пять в длину.

Мы клали мертвых друг на друга в два ряда, переложив брезентом. Поверх всех положили тела лейтенанта фон Брёле и прапорщика графа фон Хайстера.

Затем опустили гроб с полковником фон Владимиром, скончавшимся в ту ночь от ран. На гроб сверху положили надгробный покров, который за концы держали Чарбинский, Боттенлаубен, Аншютц и Кляйн.

Гроб поместили между телами Брёле и Хайстера.

Священник прочитал молитву.

Рядовые стояли в мрачном молчании.

Дождь не переставал.

Лязг и скрежет движущихся обозов доносился с дороги за стеной кладбища.

Когда могилу засыпали, взвод под командованием лейтенанта фон Вайса произвел над ней залп.

Возвращаясь с кладбища, мы обнаружили, что дорога в город полностью забита обозами и войсками. Мы шли рядом с ними, и поскольку они двигались медленнее, то мы постепенно обогнали отдельные части. Солдаты выглядели измученными, а лошади были покрыты грязью.

— Какой полк? — спрашивали мы.

В ответ звучали названия самых разных полков. Очевидно, это были беспорядочно перемешанные войска, в основном из славян и венгров, нам встретились также несколько человек из Триеста. На некоторых были плащ-палатки, кто-то шел вообще без вещей. Они их явно потеряли, но большинство все же тащило свои тяжелые ранцы.

Когда мы спрашивали, откуда они, они указывали назад, а когда мы хотели узнать, куда идут, то они указывали куда-то перед собой.

— Были бои? — спросил Аншютц.

Они кивали. Но когда он задал вопрос о том, почему они отступают, то лейтенант, молча бредущий рядом, внезапно сделал какой-то короткий жест и покачал головой. Мы посмотрели на него с удивлением, и он сделал еще один жест.

— Что это значит? — Аншютц спросил его по-французски, но тот не отвечал.

Когда Аншютц повторил свой вопрос, тот ответил по-немецки с акцентом, что не понимает французского. Затем, немного спустя, он пожал плечами, устался в землю и пошел рядом со своими с трудом плетущимися людьми. Мы посмотрели друг на друга, Чарбинский, закулив, задумчиво смотрел на идущие войска. К тому времени, как мы добрались до города, голова колонны повернула направо, а мы прошли вперед и вернулись в наши школьные апартаменты. Вскоре нас позвали на обед. Чарбинский опять говорил на незначительные темы. В противном случае мы, конечно, снова заговорили бы о вещах, которые действительно нас занимали. Но Чарбинский предотвращал такой ход беседы, всякий раз меняя тему разговора.

Вставая из-за стола, он сказал:

— Мы можем утешить себя тем, что не одиноки в своих мытарствах. Пехота, которая прибыла в город, покинула фронт, потому что тоже взбунтовалась.

Мы смотрели на него, ничего не говоря.

— Вы не заметили? — спросил он. — Что ж, вчера я сказал вам, что вы не чувствуете солдат.

И он вышел из комнаты.

Некоторое время все молчали, а затем Аншютц произнес:

— Мы почувствовали, что армия утратила единство.

Кляйн добавил, что Чарбинский все утро давал по телефону различные указания и что он сам, Кляйн, сумел понять из этих телефонных разговоров, что

фронт фактически распущен. Отдельные части и обозы, включая артиллерию, шли с юга всю ночь, прошли через город, часть по железнодорожному мосту, часть по понтонному, чтобы занять венгерский берег. По приказу или без него. Все они должны были пройти через Белград, потому что мостов через Дунай вокруг больше нет.

Подтверждением его слов прозвучали глухие, громкие шаги пехоты, показавшейся из переулка. Мы подошли к окнам, открыли и стали смотреть вниз. Улица была полна усталых, грязных, утративших дисциплину солдат, бредущих с юга на север.

Мы стояли и молча смотрели на них, потом закрыли окна и вернулись к столу. Мы пытались обсудить наше положение, но не получалось. Вместе с Аншютцем и Боттенлаубеном я оставался в столовой примерно до пяти часов. Аншютц высказал странную мысль, что все дурное началось с появления Хакенберга. После того, как тот предсказал смерть Хайстера, начался мятеж, и, возможно, он произошел только потому, что солдаты слышали его речи. Не было бы мятежа, Хайстер бы не погиб. Так что, возможно, мятеж возник потому, что Хайстер должен был погибнуть. Аншютц сказал это так серьезно, что после паузы изумленный Боттенлаубен спросил, не сошел ли он с ума. Аншютц ответил, что до сих пор никогда не был суеверным. Но когда Хакенберг разговаривал с Хайстером, он почувствовал себя плохо. И если причиной этого был не сам Хакенберг, то несчастье, вероятно, уже витало в воздухе. А речи Хакенберга стали лишь катализатором этой грозы.

— Не понимаю, — воскликнул Боттенлаубен.

— Я тоже не понимаю, — ответил Аншютц, — но возможно, его предназначение было в том, чтобы указать на связь между событиями.

— Но погиб не только Хайстер, — воскликнул Боттенлаубен, — та же участь постигла сотни других!

— Поэтому сейчас, — продолжал Аншютц, — я должен признать, что сам испытывал искушение согласиться с ним в некоторых вещах.

Аншютц говорил так убежденно, так веря в свои слова, что мы забеспокоились о его психическом состоянии.

— Так что же, — сказал наконец Боттенлаубен, — появление Хакенберга имело какой-то скрытый смысл?

— Да, — ответил Аншютц, — тогда мы этого не знали, но в армии, как и в самом Хайстере, уже поселилась порча. Теперь же, после всего, что произошло, нам будет лучше с новым народом и новой армией. Нужно освободить место.

— Что ты говоришь!.. — закричал было Боттенлаубен, но его перебило появление Кляйна.

Он посмотрел на нас и сообщил, что Чарбинский только что продиктовал ему приказ о выступлении полка. Завтра.

— Куда? — спросил Боттенлаубен.

— Обратно за Дунай, — сказал адъютант.

— Назад? — продолжил допрос Боттенлаубен. — По чьему приказу?

— Не по чьему, — ответил Кляйн, — это решение Чарбинского.

Он, Кляйн, пытался возражать, но Чарбинский заявил, что бессмысленно оставаться на этом берегу реки, тут мы в опасности. В любом случае здесь все потеряно. Солдаты были совершенно правы, не захотев переходить Дунай, и, если вы заставите их остаться, они попросту дезертируют, и скоро может оказаться вообще невозможным перебраться на другой берег.

Тут Боттенлаубен молча надел фуражку и в два прыжка выскочил из комнаты. Он побежал к Чарбинскому, а адъютант последовал за ним. Кляйн не присутствовал при споре между гусаром и драгуном, но по неопишуемой ругани, доносившейся из полковой канцелярии, заключил, что Боттенлаубен вместо того, чтобы согласиться, что полку следует отправиться за Дунай, через который его только что перевели с такими потерями, решил арестовать Чарбинского и сам возглавить остатки полка. Чарбинский кричал, что Боттенлаубен — чертов пруссак и что это не его дело. Впрочем, приказ об отступлении так и не был отдан.

На ужин Чарбинский не пришел. Позже Антон сообщил нам, что слух об отступлении и его отмене каким-то образом просочился к солдатам и рядовые клянут нас за это. Боттенлаубен немедленно захотел встретиться с ними лицом к лицу. Вооружившись как следует, Боттенлаубен, Аншютц и я вышли на улицу. Боттенлаубен оказался посреди толпы солдат.

— А ну! — закричал он. — Разойдись!

Люди начали расходится.

Ночью мы спали с оружием наготове. Шум на улицах прекратился, жизнь как будто бы замерла. С рассветом большие школьные окна мягко завибрировали,

а еще через некоторое время их уже буквально трясло от грохота артиллерии. Воздух в классах резонировал с этим грохотом, как если бы мы оказались внутри музыкального инструмента.

В то утро выяснилось, что некоторые солдаты все-таки дезертировали. Но большинство решили остаться. И когда мы, оставшиеся офицеры, собрались в зале после завтрака, к нам прибыла делегация солдат, сообщившая, что солдаты сформировали совет, которому офицеры должны будут подчиняться и в соответствии с решениями которого они будут отдавать приказы. Для нас советы уже не были чем-то новым и неизвестным. Мы знали о них по событиям в России. А позже и от командования нам пришел приказ сформировать солдатские советы. В результате Чарбинский, уже зная о подобных событиях в других полках, немедленно назначил себя председателем нашего солдатского совета. Некоторые офицеры — и он в их числе — полагали, что так смогут предотвратить худшие события.

Солдаты заявили нам, что уже принято решение идти через Дунай в обратную сторону. Боттенлаубен, изрыгая проклятья, отправился к ним выяснять отношения. Он грозился доказать им неправильность этого решения. Но его прогнали вон и проводили ругательствами. После этого, оставив от греха подальше оружие, но в нашем сопровождении, Боттенлаубен снова пошел разговаривать с солдатами. Он спустился в импровизированные конюшни, осмотрел лошадей. Обругал конюхов за плохое обращение с животными и дал одному из них в ухо. Солдаты не осмелились ответить ему, но сгрудились в противоположном конце

помещения. Боттенлаубен крикнул, что разгонит этот их солдатский совет.

На протяжении всей перебранки Чарбинский так и не появился, чтобы помешать графу. На обеде он тоже не присутствовал, как и, по странному стечению обстоятельств, еще два офицера — Кляйн и Салаи. Кто-то сказал, что оба они присоединились к солдатскому совету и, очевидно, больше не хотели вступать в спор с Боттенлаубеном.

На улице снова зазвучал марш и появились войска. Но теперь движение было еще более беспорядочным, чем вчера, люди были рассеяны, иногда можно было увидеть и вовсе отдельно идущих безоружных солдат. Город эвакуировался, за исключением больниц, из которых нельзя было увезти раненых, непрерывно где-то возникала стрельба, и я понял, что мы остаемся не из-за отсутствия приказа, а из-за того, что приказ попросту до нас не дошел. Вопрос о том, не стоит ли нам наконец отправиться в путь, стал животрепещущим. Боттенлаубен отказался об этом говорить, но я был очень удивлен, что Чарбинский и его солдаты тоже пока оставались на месте.

Причина выяснилась во второй половине дня. Около половины пятого появился взволнованный Антон и сообщил, что солдаты готовят нам провокацию, потому что Боттенлаубен бросил вызов совету. Именно на него направлен весь их гнев. Словно в подтверждение этих слов во дворе раздался гул голосов.

— Что ж, — сказал Боттенлаубен, — похоже, вот теперь все и прояснится! Нам нельзя здесь оставаться.

А они не хотят нас отпускать. Мы не должны позволить им взять над нами верх.

Мы надели шинели, фуражки и приготовили оружие. Пока Антон помогал Боттенлаубену надеть шинель, я сорвал штандарт с древка и спрятал его на груди под рубахой. Внизу раздался грохот. Открыв дверь класса, мы поняли, что солдаты уже поднимаются по лестнице. Мы заперли дверь и через комнату Боттенлаубена ретировались в следующее помещение, а оттуда в коридор. Дальше по коридору к другой лестнице и по ней вниз. Солдаты с криками гнались за нами. Выбежав из здания школы, мы вновь оказались прямым перед ними. Аншютц немедленно дважды выстрелил в воздух. Солдаты отпрянули, но быстро пришли в себя и бросились за нами. Мы отступили обратно в школу, миновали коридор на первом этаже и свернули в одну из комнат. Это был лазарет. Раненые лежали на кое-как устроенных постелях.

Боттенлаубен, перескакивая через них, бросился к окну напротив, распахнул его и выскочил на улицу. Мы бегом последовали за ним. Впереди Боттенлаубен в своей длинной, распахнутой, развевающейся шинели, за нами — солдаты. Вдруг из одного из окон раздался выстрел. Пуля ударилась в тротуар рядом с нами, затем последовало еще три или четыре выстрела. Боттенлаубен сделал еще пару шагов, развернулся и выстрелил из своего пистолета десять раз: часть пуль попала в солдат за нами, часть — по окнам. Солдаты убрались за ворота школы, из окон больше не стреляли. Антон начал было ругаться, но я приказал ему замолчать. Мы спешно уходили прочь. Солдаты не отставали.

Но людей на улице было много: группы солдат и горожане — все бросились бежать и прятаться, когда раздались выстрелы. Мы свернули в переулок, потом на следующую улицу. Везде были телеги и люди. Крестьянские фургоны, очевидно реквизированные, груженные багажом и ранеными, двигались в том же направлении, что и мы, бронемашины с грохотом тянули пушки. Роспуск армии определенно происходил в самом городе. То и дело раздавалась беспорядочная стрельба. Дождь перестал, но улицы были еще мокрыми, по вечернему небу плыли темные облака. Было пять часов, уже смеркалось. Возле домов останавлилась колонна моторизованных орудий. Солдаты стояли или сидели на повозках, свесив ноги. Мы шли вдоль этой колонны, но, достигнув ее конца, не могли решить, куда идти дальше. Нам нужно было избегать мятежников, но казалось, что все вокруг нас мятежники и дезертиры и их уже никто не мог остановить. Похоже, командиров больше не осталось — остались только те, кто поддержал солдатские советы. Выбирать нам было не из чего: теперь у нас был только один путь — вместе со всеми идти обратно через Дунай. И все же я предложил остальным попробовать найти в городе командование, если оно все еще существовало, и спросить, что нам делать дальше.

Комендатура находилась рядом со штабом армии. На улицах уже бесчинствовали мародеры. По переулку метались люди. Пехотинцы, которым, вероятно, долгое время пришлось обходиться без еды, врываются в продуктовые магазины и жилые дома. Горо-

жане кричали и плакали. Некоторые офицеры били своих солдат, а другие просто пожимали плечами и тихо курили в сторонке. В зданиях, где прежде располагался штаб армии, все окна были открыты, стопки и папки с документами частично были выброшены на улицу, а частично погружены в грузовики, которые стояли возле входа с работающими двигателями. Какие-то бумаги горели посередине площади. Отсветы этого огромного костра плясали на стенах домов. Тлеющие обрывки вылетали из огня и кружили над нашими головами. Мы убедились, что городской штаб пуст, лишь несколько унтер-офицеров все еще жгли документы.

— Где комендант? — спросили мы.

Они сказали, что не знают. Однако один из них слышал, будто в Конаке расположилось командование отряда хорватских войск для поддержания порядка в городе, пока он не будет передан французам.

Вот и всё. В печи дымилась сгоревшая бумага. Мы снова вышли на улицу. Добравшись до Конака, мы обнаружили, что охраны перед воротами нет. От их отряда не осталось и следа. Может быть, они были где-то в другом месте. Вместо них мы увидели раненых, которых выносили из грузовиков, стоявших во дворе.

Реза была здесь.

Она стояла к нам спиной, и я не сразу узнал ее. На ней была короткая меховая шубка, время от времени она грела руки в карманах. Заслышав шаги, она обернулась. Свет ацетиленовых фар падал на нее сзади, и я не мог разглядеть ее лица в сумерках. Зато отлично

были видны ее волосы, сиявшие золотом. Я увидел, как она потянулась ко мне, и услышал ее голос:

— Наконец-то! Я так ждала тебя. Ты наконец пришел?

Я подошел к ней и взял за руки.

— Боже мой, — сказал я, только теперь осознав, что это она, — почему ты все еще здесь?!

— Потому что, — ответила она, — я ждала тебя. Ты сказал, что придешь. Но не пришел тогда. Зато теперь ты пришел. Наконец-то ты здесь!

Сказав это, она обхватила меня за шею, склонила голову и спрятала лицо у меня на плече.

— Как ты могла остаться? — воскликнул я. — Эрцгерцогиня все еще здесь? Но это невозможно! Как она могла тебя бросить?!

На несколько мгновений ее охватила дрожь, как будто она начала тихо рыдать, затем снова подняла лицо и, наклонив голову, взглянула на меня. Глаза ее были полны слез.

— Говори же, — попросил я.

Мои спутники подошли и смотрели на нас.

— Я же говорила тебе, — ответила она, — что не уеду. Я попросила эрцгерцогиню оставить меня здесь, сказав, что буду заботиться о раненых. Многих из них разместили во дворце. Но на самом деле я просто ждала, когда ты придешь. И вот, наконец, ты пришел!

С этими словами она взяла мое лицо в ладони и посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. Я коснулся ее ладоней и не знал, что ответить. Все, что она успела рассказать, совершенно сбило меня с толку. Ведь я совсем не думал о ней, по крайней мере,

я не предполагал, что она все еще в городе. Меня также беспокоило то, что она совсем не обращала внимания на остальных.

— Извините, — сказал я, желая разрядить ситуацию, — но могу я представить вас, господа? Ты уже знаешь графа Боттенлаубена, а это господин фон Аншютц...

Она взглянула на них и протянула им руку. Пока Боттенлаубен говорил с ней, Антон толкнул меня сзади.

— В чем дело? — спросил я, оборачиваясь.

— Простите меня, господин прапорщик, — пробормотал он, стараясь оставаться незамеченным, — это та самая дама, ради которой господин прапорщик... ночью...

— Молчать! — оборвал я его. — Что ты о себе возомнил!

— Она очень красивая! — бормотал он, осторожно наклоняясь ко мне. — Действительно, очень, очень красивая! Мне жаль, что я был против...

У меня не было возможности сделать ему выговор. Внезапно всё перекрыли раскаты от взрывов и выстрелов. И почти сразу за воротами Конака я увидел группу всадников, мундиры которых мне показались чужими, несмотря на сгустившиеся сумерки. Они быстро приближались.

Два английских кавалерийских полка опередили приближающийся англо-французский фронт и взяли город в клещи.

Мы все еще стояли во дворе, пытаясь понять, что произошло, но внезапно вторая группа всадников ворвалась в ворота Конака. У нас хватило духу отступить за грузовики и затем на одну из лестниц. Оттуда, из-за стеклянной двери, мы смотрели на прибывающих кавалеристов. Они остановились возле грузовиков. Их было восемнадцать или двадцать человек, в шлемах и плащах, лошади у них были великолепные. У каждого были карабин и две ленты с патронами через плечо. Они недолго поговорили с солдатами у машин; из лазаретов на первом этаже к ним выбежали несколько докторов. Затем часть отряда спешилась и направилась ко дворцу.

Мы сразу же покинули свой наблюдательный пункт и бегом поднялись вверх по лестнице. Реза на мгновение заколебалась, вероятно, подумав встретиться с англичанами, поговорить с ними и выиграть время, чтобы помочь нашему отступлению. Однако Антон схватил ее за руку и увлек по лестнице вслед за нами.

— Поторопитесь! — говорил он ей. — Не ждите неприятностей!

Оказавшись наверху, мы свернули в зал и подбежали к окнам. Улицы вокруг Конака кишели англий-

скими кавалеристами, которые метались туда-сюда и стреляли в разные стороны. Наши дезертиры и горожане прятались в закоулках. При этом я не заметил, чтобы кого-нибудь ранили. Беспорядочная стрельба производила скорее страх и замешательство.

В любом случае, если мы еще не были в плену, то оказались в ловушке. Вражеские солдаты уже вбежали в соседние помещения. Вряд ли они знали о том, что мы где-то рядом. Смысл атаки англичан, похоже, был в том, чтобы занять как можно больше позиций. Нам нужно было немедленно уходить, но мы не знали куда. И тут Реза открыла потайную дверь, скрытую обоями. Мы эту дверь вряд ли заметили бы. Реза позвала нас за собой. За дверью открывался узкий коридор, из которого можно было попасть в некоторые комнаты, залы и в систему отопления Конака. Здесь было совсем темно, окон не было, и мы сразу же наткнулись на груды дров или угля. Тем временем англичане пронеслись по комнатам мимо нас, зажигая повсюду свет. Потом вдруг наступила тишина, стрельба на улице тоже прекратилась. Было слышно, как во двор въезжают все новые всадники. Мы зажгли спички и огляделись, затем осторожно приоткрыли дверь с обоями и снова выглянули в комнату. Она была пуста, все двери открыты. Но вскоре вновь послышались шаги нескольких человек.

На этот раз они не бежали, а шли; несколько солдат и офицер — руки он засунул в карманы шинели, а его подбородный ремешок цеплялся не за подбородок, а за нижнюю губу. Он разговаривал со своими людьми, но каждый раз, когда он что-то говорил, ремешок

так и норовил попасть ему в рот. И он все время его поправлял. Эдакий английский способ носить шлем. Если ремешок такой неудобный, не снять ли шлем вообще? В конце концов он так и сделал, а один из его людей взял шлем и вручил ему взамен остроконечную фуражку. Офицер надел ее и оглядел помещение. Как ни странно, он был без оружия, хотя его люди держали в руках карабины. Некоторое время спустя все они перешли в соседнюю комнату.

Мы решили пока не покидать своего укрытия, хотя шанс на спасение у нас появился. Англичане явно не подозревали о нашем коридоре. Они обсуждали, где в Конаке можно согреться, и высказывались только в пользу комнат с каминами. Во всей Англии нет таких систем отопления, только камины с дымоходами. Поэтому они даже не догадывались, что в нескольких метрах от них, в скрытом коридоре может кто-то прятаться.

Понимая, что в нашем убежище отнюдь не безопасно, мы принялись его изучать и тихонько простукивать. Мы снова зажигали спички. Коридор был не больше двух шагов в ширину, по одной стороне шли двери, скрытые обоями, по другой — всего одна дверь, вернее, дверной проем, ведущий в небольшую кладовку с инструментами. В ней были свалены дрова, лопаты для угля и длинные железные кочерги. Другого выхода из нее не было. Нам пришлось вернуться в коридор. Мы прошли в оба его конца, коридор оказался довольно длинным, извивался, двери из него вели в закрытые тамбуры, откуда можно было пройти на лестницы для слуг, ведущие вверх и вниз. Мы очень

осторожно вышли в один из этих тамбуров и посмотрели через окно во двор. Там было полно английских кавалерийских лошадей. Солдаты, спешившись, ходили рядом. В какой-то момент мы раздумывали, не попытаться ли сбежать по лестнице, но отказались от этой идеи. Идти во двор смысла не было, как и на чердак.

Было непонятно, что делать, бродить по дворцу было нельзя. Шанс выбраться мог представиться только ночью. Мы решили, что нужно отыскать боковые выходы из дворца. Но с поисками опять же следовало подождать. Все сошлись во мнении, что выбираться мы сможем ночью или рано утром. Поэтому мы вернулись в наш коридор. Решено было запереться изнутри и заблокировать все двери.

Но тут оказалось, что это невозможно, потому что на дверях не было засовов. Двери можно было закрыть снаружи, но не изнутри. Так что в любой момент кто-нибудь мог зайти в коридор и обнаружить нас. Мы стояли в темноте и шептались о том, что делать дальше. Спички мы старались не жечь. Было слышно, как англичане ходят взад-вперед по комнатам и разговаривают друг с другом. Боттенлаубен предложил вернуться в кладовку с лопатами и кочергами и у входа в нее сложить как можно больше дров, чтобы никому не пришлось в голову, что позади них есть еще место. Эта мысль всем понравилась. Мы отправились в кладовую и в темноте начали перекладывать дрова. Но поскольку мы ничего не видели, то делали это так громко, что Боттенлаубен заявил, что кто-то должен поддерживать освещение, чтобы мы могли хоть что-то разглядеть и

работали тише. Аншютц снова стал зажигать спички. Он прислонился спиной к задней стене, завешенной чем-то вроде дешевого ковра. Мы уже разобрали большую часть кучи дров перед ним. И чем больше мы перекладывали дрова, тем лучше был виден ковер. Я хотел было сказать, что очень странно, что его повесили здесь, за дровами, даже учитывая его потрепанный вид. Но тут свет вдруг погас, и кто-то упал в темноте. Аншютц тихо выругался.

Произошло вот что: за ковром оказался еще один дверной проем, но без двери. Вернее, даже не проем, а проход в узкий коридор, ведущий вниз — лестница с кирпичными ступенями. Как только Аншютц, не задумываясь, прислонился к стене, ковер позади него подался, и наш спутник рухнул вниз по лестнице. Когда мы уже сами зажгли спички, то не сразу поняли, что именно случилось. Ковер вернулся на свое место, исчез только Аншютц, и было слышно, как он чертычется где-то за ковром. Наконец мы подняли ковер и увидели за ним проход и лестницу.

К счастью, лестница была не слишком крутой и длинной, и Аншютц не сильно пострадал. Мы поспешили к нему на помощь. Это был еще один выход, но лестница заканчивалась запертой решеткой, которая и остановила падение Аншютца. Решетка была крепкая и заперта надежно. Мы попробовали ее потрясти, но она не поддавалась. Из-за нее тянуло затхлым воздухом. Я просунул руку с горящей спичкой сквозь прутья как можно дальше и попытался осветить пространство с другой стороны. Стен и потолка не было видно, но пол выглядел так же, как и везде.

Вероятно, это был выход через подвал, ведущий за пределы дворца. Мы снова попытались сдвинуть решетку. Но лестница была настолько узкой, что только один, максимум двое из нас могли пытаться ее открыть, так что мы потерпели фиаско. Было решено воспользоваться инструментом из кладовой и взломать решетку. Всем пришлось возвращаться наверх. Когда мы пришли обратно, я попытался осмыслить происходящее. Ковер висел на своем прежнем месте, как будто за ним и не было никакого хода. Эта просто, но умело замаскированная дверь, несомненно, была сделана тут неспроста. В этой странной кладовой все служило целям маскировки. И проход был спрятан не просто за ковром, но и за грудой дров, только убрав которые возможно было его обнаружить. При чем не прислонись Аншютц к стене, мы бы вообще проход не нашли. Позже мне не раз казалось, что факт обнаружения этого прохода служил нашему спасению, что все было предreshено заранее. Думаю, когда-то королевская семья позаботилась о том, чтобы на всякий случай обеспечить себе путь к отступлению из Конака, ведь они должны были быть готовы к беспорядкам или к чему-то подобному. Из комнат дворца этот ход было не найти. А доступ из подвала закрывала решетка.

Конечно, решетку могли в итоге найти и сломать. Но все-таки трудно было предположить, что кто-то извне сможет добраться до этой двери. Мы уже собирались взять в кладовой инструмент и попробовать взломать решетку, но Боттенлаубен предостерег нас. Перейдя на шепот, он сказал, что, если мы наделаем лишнего шума, нас скорее всего обнаружат.

Пришлось отложить работу, пока все в доме не уснут или пока мы не убедимся, что в соседних комнатах никого нет. Да и если мы сейчас вдруг выйдем из дворца, нас тут же схватят. С таким же успехом можно было выпрыгнуть из окна.

Мы не знали, какие части города заняли англичане. Стоило прислушаться к их разговорам. Мы решили еще раз заглянуть в комнату через ту же дверь за обоями и осторожно ее открыли. В двух ближайших комнатах никого не было. Однако в третьей, из которой доносились голоса, сидел английский офицер. Мы чуть-чуть приоткрыли двери с нашей стороны. Англичанин сидел у камина — вероятно, камин и был причиной, почему он выбрал именно эту комнату. Он вытянул ноги к огню, но, поскольку в комнате все еще было холодно, шинель он не снял. Рядом с ним на столике стояла чашка чая, из которой он время от времени делал глоток-другой. И, как ни странно, рядом с ним лежало несколько английских журналов, которые он иногда перелистывал. Меня впечатлило, как быстро они обустроились здесь, словно находились где-нибудь в Кенте или Эссексе. Англичанин, казалось, чувствовал себя в полной безопасности. Разумеется, было не трудно отбить город у армии, которой уже фактически не было.

Позднее мы узнали, что эти два английских полка еще и получили поддержку со стороны сербского населения. Офицер то листал журнал, то выслушивал отчеты приходивших к нему врачей и двух других офицеров. Один из них был невысоким и толстым и говорил весело посмеиваясь, а другой то и дело постукивал

себя стеком по голенищу. Однако я не мог ничего разобрать из их разговоров: я, наверное, слишком плохо понимал по-английски. Слуга англичанина был занят тем, что обустроивал комнату и подкладывал дрова в камин. Англичанин был сравнительно молод, среднего роста, стройный, с тусклыми темными волосами. Наконец и врачи, и слуга ушли, а офицер продолжил листать свои журналы. Потом он закурил. Это были египетские сигареты, не обычные. Запах от них доносился до нашей двери.

Я некоторое время наблюдал за ним, затем склонился к уху Резы и прошептал:

— Ты говоришь по-английски?

Она кивнула.

— Иди теперь, — приказал я ей, — тихонько через другую дверь в коридор, а затем сюда к нему. Заговори с ним, скажи, что ты снизу, от раненых. Попроси спуститься с тобой, если это получится. Поняла?

— Да, — прошептала она и поцеловала меня в щеку.

В тот момент она мало что понимала. Боттенлаубен тоже не понял, что происходит, и хотел было спросить, куда она собралась, но я взял его за руку, и он промолчал. Мы не слышали, как Реза открывала боковую дверь. Она все сделала тихо. Очень скоро смежная дверь из соседней комнаты отворилась, и вошла Реза. Англичанин сначала не поднял глаз, но, услышав приближающиеся шаги, повернул голову и посмотрел на Резу. Когда он заметил, какая она красивая, глаза его расширились, он отодвинул ноги от камина, положил журнал на столик, на котором уже лежали его кожаные перчатки, и встал. Реза очень хорошо играла свою

роль. Оказалось, что она прекрасная актриса. Впрочем, все женщины — актрисы. Спрятав руки в карманы шубки, Реза остановилась перед англичанином, и он спросил, откуда она взялась.

Снизу, от раненых, сказала она, добавив что-то, чего я не понял. Он задал второй вопрос, и завязался разговор, в котором он по несколько раз повторял одни и те же предложения. Видимо, потому, что заметил, что она не очень хорошо говорит по-английски. Наконец, он предложил ей сесть, и она села в кресло. Теперь он старался говорить четче, так что я тоже, находясь за дверью, смог понять большую часть того, что было сказано. Было ясно, что ему очень понравилась Реза, он пристально смотрел на нее и очень скоро стал делать это с той скромной сдержанностью, которой обычно не бывает у англичан. Причину мы вскоре узнали. Этот англичанин оказался аристократом, а английская аристократия любит игнорировать моральные принципы своих буржуазных соотечественников. Нормандская кровь, конечно, тоже не вода, но она все же отзывчивей англосаксонской крови.

Кроме того, в Англии, где титулы в основном переходят только к старшим сыновьям, разговаривая с людьми своего сословия, принято упоминать о своем происхождении в первых же предложениях. Англичанин так и поступил. Оказалось, что у него тоже есть титул. Он был виконтом Сомерсетом, старшим сыном графа Обера. Это объясняло легкость, даже небрежность, с которой он беседовал с Резой. Мысль о том, что она, возможно, намеревалась сделать что-то иное, кроме как слушать его, совсем не приходила ему в го-

лову. Он принимал как должное, что в захваченном городе первым делом к нему в гости пришла красивая девушка.

Думаю, он жил в сказочном мире своих предков. К тому же он был довольно молод, хотя уже имел звание майора. Наверняка он продвинулся по службе благодаря войне, своему происхождению или из-за того, что был хорошим наездником. Несколько лет он прожил в Канаде на большой ферме, принадлежащей его родственникам, и потому отлично ладил с лошадьми.

Реза, заметив, что он разговорился, улыбнулась ему, и, если бы я не думал о многом другом, я бы и сам подпал под ее очарование. Я напряженно наблюдал за развитием этой нелепой сцены.

Реза сказала, что считает атаку англичан на город очень смелой, на что Сомерсет возразил, что это не так. Австрийская армия развалилась, а сербы поддержали их, англичан. В противном случае, последние, вероятно, не смогли бы разоружить австрийские войска.

— А сколько всего было англичан? — спросила Реза.

— Тысяча двести человек, — ответил он.

— И вы чувствуете себя здесь в безопасности?

— Совсем нет.

Они все еще не заняли железнодорожный мост, а также плацдарм на венгерском берегу. Им только предстояло сделать это ночью или завтра. Нужно ждать подкрепления. Кавалерию гнали вперед, а генералы стремились взять как можно больше пленных и приукрасить свой успех. Он, Сомерсет, рассчитывает на то, что последние выстрелы уже отзвучали и что он

прекрасно проведет время в Белграде. Ему очень нравится Конак, и он надеется, что Реза будет часто беседовать с ним у камина.

С этими словами он наклонился к Резе и поцеловал ей руки. Она улыбнулась ему, и он сказал, что у нее очень красивые руки.

— Итак? — сказала она и, улыбаясь, бросила быстрый взгляд в мою сторону, затем посмотрела на него, но снова опустила взгляд, а он притянул ее к себе. Англичанин еще раз сказал, что у нее очаровательные руки, и попытался затащить ее к себе на колени. Она сделала вид, что сопротивляется, но в конце концов сдалась и села на подлокотник его кресла. Теперь он мог подумать, что его навязчивость ей приятна, тем более что Реза продолжала ему улыбаться. Некоторое время они спорили из-за поцелуя. Наконец она наклонилась к нему. При этом она положила правую руку на спинку кресла, а он обхватил ее левой рукой за шею. Затем она поцеловала его. Настоящее предательство происходит через поцелуй. Когда Реза целовала Сомерсета, глаза ее были устремлены на дверь, за которой стояли мы, и рукой, лежащей на кресле, она подала нам знак. Совсем незаметный знак. И меня вовсе не возмущало то, что моя возлюбленная целует этого англичанина: я ждал ее знак.

Мы тихо вышли из укрытия, а она обняла Сомерсета правой рукой за плечи и притянула к себе, чтобы он не мог видеть, что происходит за его спиной. Затем она выпрямилась и отступила от него, а когда Сомерсет поднял глаза, в кресле, в котором она только что сидела, был неизвестный человек в

немецкой гусарской форме, направивший на него пистолет. В то же время Аншютц и я молча подошли к двум дверям, ведущим в соседние комнаты, и заперли их. Сомерсет посмотрел на Боттенлаубена, как будто не мог поверить своим глазам. Наступившую тишину прервал кашель Антона, который тоже покинул наш коридор.

— Черт возьми, сэр, — сказал Сомерсет, посмотрев на всех нас и, наконец, на Боттенлаубена, — как вы сюда попали?

— Что он говорит? — спросил Боттенлаубен.

Ему перевели.

— Не верьте своим глазам, милорд Сомерсет, — сказал Боттенлаубен, — у меня сейчас нет времени объяснять вам, что происходит. Отдайте мне вашу фуражку и снимайте шинель.

— Мою фуражку? — выдавил Сомерсет. — Отдать?

— Да.

— И шинель тоже?

— Вы понятливы. Мне нужно и то, и другое. А как мне еще, — сказал Боттенлаубен, — перейти через Дунай? Остальные господа, которых вы видите здесь, думаю, будут изображать моих пленников.

— Ваших пленников?

— Я с удовольствием подмечаю, — сказал Боттенлаубен, — что аристократия на вашем острове соображает не быстрее, чем наша континентальная. Кстати, как вы можете сидеть здесь и пить чай, в то время как ваши солдаты занимают город?

— Мои солдаты?

— Да.

— Моим солдатам было приказано занять Конак, а не город.

— О, — сказал Боттенлаубен. — Тогда прошу прощения. Сколько эскадронов у вас здесь, в Конаке?

— Это не ваше дело.

— Нет, мое. Кстати, почему бы вам не снять шинель?

— Шинель?

— Да, шинель! И поскорее, будьте любезны!

Этот приказ был уже настолько безапелляционным, что Сомерсет немедленно встал. Рука его потянулась к пуговицам на шинели, но вдруг он остановился и снова сел.

— Ну? — резко воскликнул Боттенлаубен.

Сомерсет посмотрел на нас с Аншютцем, стоящих у дверей, затем снова поднялся. Глядя на Аншютца, он медленно расстегнул пряжку своего ремня. Потом начал расстегивать шинель.

Конечно, мы внимательно следили за каждым его движением, но в то же время меня поразило, как смотрел на него Аншютц. Он смотрел на Сомерсета, встававшего с кресла, как на что-то ужасное. Только позднее я понял причину этого ужаса. Мы считали, что Сомерсет безоружен. И не знали, что англичане обычно носят револьверы под шинелью, а не поверх нее. Но когда Сомерсет распахнул шинель, он успел вытащить револьвер. Выхватив его из кобуры, он в мгновение ока несколько раз выстрелил в Аншютца. Аншютц отшатнулся к двери позади себя, а затем рухнул на пол. Англичанин не успел достичь двери — три или четыре пули Боттенлаубена повалили его.

Мы сразу же бросились к Аншютцу и попытались его поднять, но поняли, что раны смертельны. Веки его еще немного дрожали, но очень скоро замерли. Рука безжизненно упала на пол. У нас не было времени предаваться скорби и гневу из-за его гибели. Снаружи мы слышали крики и топот, а в следующую минуту в обе двери уже стучали и гремели замками. Мы оставили Аншютца лежать на полу и встали. Со двора тоже раздавались встревоженные голоса. Двери сотрясались, казалось, на них наваливалась толпа людей. Было ясно, что долго двери не выдержат.

Мы бегом вернулись в отопительный коридор, там по-прежнему никого не было, и поспешили в кладовку. Едва мы добрались до нее, стало слышно, как люди бегут уже по этому коридору. Мы подняли ковер и спустились по лестнице. Ковер вернулся в свое привычное положение. Мы ждали с пистолетами в руках и были готовы поприветствовать любого выстрела. Но никому и в голову не приходило искать нас за ковром. Англичане побывали в кладовой и перевернули там все вверх дном, но никто из них не поднял ковер. Они снова выбежали в коридор, и мы слышали, как они штурмуют другие комнаты, потом шум стих, но очень скоро вернулся снова: они опять искали нас в кладовой. Их было много, потому что они не могли знать, кто мы и сколько нас. Суматоха длилась больше четверти часа, наши сердца колотились в ожидании. Когда поиски наконец прекратились, мы мысленно поблагодарили тех, кто продумал за нас наше убежище.

Было около семи часов; мы сидели на ступенях в темноте, только отблеск света, который англичане

зажгли в кладовке, пробивался сквозь основу ковра. Мы сидели не двигаясь, не решаясь что-либо предпринять. Реза взяла меня за руки и крепко вцепилась в них. Полную тишину нарушали только шорохи то тут, то там. Антон пробормотал, что это крысы. Я зашипел на него и велел замолчать.

Время от времени я чувствовал, как Реза сильнее сжимает мои руки, затем немного отпускает, но сразу же снова судорожно вцепляется в них. У нее был шок. Наконец, она приблизила губы к моему уху.

— Послушай, — прошептала она, — что ты соби-
рался сделать с англичанином?

— С Сомерсетом? — тихо спросил я.

— Да. Если бы вы... если бы вы не застрелили его.

Я пожал плечами.

— Ты хотел его убить?

— Не знаю, — пробормотал я. — Но мы не знали, что он будет защищаться.

Она помолчала несколько секунд, затем спросила:

— Вы бы вообще вошли в комнату, если бы я не дала вам знак?

— Знак?.. Нет, наверное, или вошли бы позже. Мы не могли знать, как далеко ты собираешься с ним зайти.

Она молчала, и я добавил:

— Но ты действовала очень умело.

— Возможно, мне не следовало этого делать, — сказала она.

— Почему нет?

— Он же мертв.

— Аншютц, — сказал я, — тоже мертв.

Она поколебалась, затем прошептала:

— Но это же не из-за того, что я сделала...

— Что сделала? Что позволила поцеловать себя?

— ...Да.

— Это было очень умно с твоей стороны. Он даже не заметил, что мы вошли.

— А что, если бы вы не вошли? Что мне тогда пришлось бы делать? Он становился все более навязчивым. Я не знала, придете ли вы. Я знала только, что ты все видишь. Подумай я больше, то не стала бы так поступать.

— О чем ты?

— О том, что он мог бы сделать.

— Я тебя не понимаю. Он ничего бы тебе не сделал, — сказал я, — ...иначе бы...

— Что?

— Я бы вошел в комнату, и ничего бы не случилось.

— Ты? Уже случилось гораздо больше! Потому что теперь он мертв! Вы смотрели, как я делаю так, чтобы он ничего не заметил. А вы вошли и застрелили его... Ты мог бы приказать мне стать его любовницей, чтобы вы могли сбежать. Я бы сделала это для тебя. Но это из-за меня вы смогли его убить. А ты говоришь мне, что ничего не произошло. Случилось гораздо больше, чем если бы я пожертвовала собой ради тебя! То, что он мертв, — это гораздо больше, чем то, что я для тебя сделала. А ты смотрел на меня.

Она говорила все громче, ее голос переходил в крик.

— Говори тише, — сказал я.

Боттенлаубен и Антон шикали на нас.

— Я действительно не понимаю тебя, — прошептал я.

— Да, ты меня не понимаешь. Ты смотришь, как кто-то другой целует меня, говоришь мне, что все хорошо, но сам меня не целуешь. Отталкиваешь мои руки, когда я пытаюсь обнять тебя. Несколько дней я не знала, где ты и встретимся ли мы когда-нибудь снова...

— Реза, я не хотел тебя обидеть, но обстоятельства действительно были такие, что я не мог уделить тебе внимание.

Я притянул ее к себе, она обняла меня за плечи и поцеловала в губы. Я чувствовал слезы на ее щеках, она целовала меня резко и страстно. На мгновение, поскольку Боттенлаубен и Антон сидели рядом, мне захотелось убрать ее руки со своих плеч, но она не отпускала меня в темноте. Я вытер ей слезы и поцеловал, она снова взяла меня за руки и прижалась ко мне.

Мы сидели так долго, но больше не разговаривали. Несколько раз было слышно, как люди проходят по комнатам наверху; двери в отопительный коридор, вероятно, остались открытыми, потому что мы слышали шаги здесь, внизу. Я сидел и думал, сможем ли мы когда-нибудь выбраться незамеченными. Я думал о смерти Аншютца и о том, сколько человек в полку погибло и что полковник мертв, и Чарторыйский, и Брёле, и Хайстер, Кёметтер фон Трубейн и лейтенант Фабер; а остальные в плену. Мазепа был мертв, и Фаза тоже мертва. Они теперь плыли по реке, и сотни мертвых лошадей плыли вместе с ними. Чарбинский, должно

быть, попал в плен, и Кляйн, и Салаи, и все мятежники. Мы остались одни. Мы и не были частью этого полка. Боттенлаубен — немец, а Антон и я из других драгун. При этом штандарт полка эрцгерцогини Марии-Изабеллы перешел к нам.

Я представлял себе эрцгерцогиню юной девушкой, которая жила очень давно и носила платье цвета слоновой кости с розовыми бантами; я видел ее перед собой: она стоит перед сверкающими белыми всадниками в черных доспехах с красными кожаными и бархатными ремнями, перед корнетами, такими же молодыми. Она передает им штандарт. Император стоит рядом и улыбается ей, небо становится нежно-голубым, и по нему проносятся маленькие облачка. Штандарт эскадрона, ставший впоследствии знаменем всего полка, был тогда тоже совсем юным, он еще не видел крови, его золотая вышивка блестела и волновалась на майском ветру. Я потянулся было за парчой, спрятанной под рубашкой, но тогда мне бы пришлось отпустить руки Резы, а я не хотел. Ей было бы больно...

Наконец Боттенлаубен чиркнул спичкой и посмотрел на часы. Было уже десять, и он прошептал мне, что пора попробовать открыть решетку. Очень осторожно мы подняли ковер и выглянули в кладовую. Мы никого не увидели. Нам необходимо было выломать эту решетку. Мы выбрали две крепкие кочерги и вернулись за ковер.

Итак, мы отступили за ковер. И уже собрались приступить к делу, как мне пришло в голову, что англичане, поскольку они не поняли, куда мы делись, могли выставить охрану и приказать ей соблюдать

тишину, чтобы ввести нас в заблуждение. Я предложил проверить, и Боттенлаубен согласился.

Я уронил на пол железку. Она с лязгом ударилась об камень и заскакала вниз по ступенькам. Мы слушали, затаив дыхание. Если бы посты имелись, они бы себя выдали. Но было тихо. Мы наконец взялись за работу. Пока Боттенлаубен и Антон упирались в верхнюю часть решетки, чтобы хоть немного ее отогнуть, я просунул крюк кочерги между решеткой и рамой и отжал его как можно сильнее к замку. Затем мы протолкнули вторую кочергу и попытались отжать замок с другой стороны. Теперь над и под замком у каждого из нас было по рычагу, и мы поднажали. В конце концов, замок сломался. Мы изо всех сил давили на крюки, но дверь не двигалась с места. Напротив, крюки начали гнуться. Пришлось их вытащить, разогнуть и снова засунуть обратно. Раствор стены начал осыпаться, но решетка не поддавалась.

Мы бились почти четверть часа, все взмокли отчасти от напряжения, отчасти оттого, что всё больше боялись, что у нас ничего не выйдет. Время от времени мы прислушивались, затем возобновляли свои усилия. Наконец засов сломался, прутья заскрипели на ржавых петлях. Решетка подпрыгнула и открылась.

Пару минут мы стояли неподвижно, затем осторожно вошли в подвал. Вниз вели ступенек десять или двенадцать, с каждым шагом со ступеней сыпалась каменная крошка. Мы зажгли спичку и огляделись. Подвал был узким, с высоким сводом, похож на шахту, и повсюду валялся щебень. В спертom воздухе спичка

горела тусклым красноватым светом, словно в пылевом облаке, и мы увидели, что стены подвала состоят из мелких кирпичей необычной формы, напоминающих пирожки, какого-то грязно-зеленого цвета. Верх свода терялся в темноте. В одном месте кладка пола переходила в стену, в которой имелся небольшой лаз. Судя по всему, когда-то это была дверь, позднее заваленная землей. Мы пробили верх и пролезли через получившийся проем. Вокруг нас на пол сыпалась щебенка.

Мы оказались в другом подвале, довольно большом, но с низким потолком. Щебня на полу не было, но он был покрыт толстым грязно-серым слоем песка или пыли, такой мелкой, что она едва ощущалась ногами. Кирпичи в стенах были той же странной формы. Мы решили, что эти подвалы вряд ли могут быть подвалами дворца. Они были слишком древние и, вероятно, относились к старому турецкому городу, на развалинах которого был построен новый.

В углу подвала мы увидели несколько неотесанных больших и маленьких глыб того же зеленоватого камня, что мы видели в стенах. Но в общем здесь было пусто. Формой подвал был не прямоугольный, скорее трапециевидный, а слева виднелся еще один проем — узкий, но достаточно высокий, чтобы через него можно было пройти. Более того, проем, похоже, был сделан не одновременно с подвалом, а пробит в уже готовой стене позже. Края его были зазубрены, у входа лежала куча битого кирпича и земли, а пол был выложен кирпичом. Этот проход, похоже, проделали не так давно. Он был около десяти шагов в длину,

и чуть дальше внутри него мы увидели конструкцию из бревен и балок, которая, очевидно, служила опорой для грунта сверху.

Мы оказались в третьем подвале, края которого терялись в темноте. Мы рассчитывали, что уже скоро выберемся наружу, но нас постигло разочарование. Повернув налево, примерно через пятнадцать шагов мы обнаружили, что путь упирается в стену. Мы вернулись и увидели два дверных проема на другой стороне. Оба они, в свою очередь, вели в другие подвалы. Там мы снова не смогли обнаружить никаких признаков выхода. В стенах открывались все новые и новые проходы, которые вели в новые подвалы.

Мы посмотрели друг на друга. Спичка погасла, мы вновь оказались в кромешной темноте. Возникло опасение, что мы истратим их все раньше времени. Путь в верхний мир требовал больше сил, чем мы предполагали.

Казалось, что под дворцом какое-то бесконечное количество подвалов. Нужно было решать, двигаться ли дальше на свой страх и риск и израсходовать последние спички либо найти и зажечь что-то другое — щепу или стружку, чтобы подсветить себе путь. Что-то подходящее имелось в кладовке или в тех подвалах, по которым мы прошли ранее.

Антон сказал, что мы можем вернуться и взять во дворце свечей. Я хотел спросить его, не сошел ли он с ума. Но он быстро добавил, что в Конаке свечи есть во всех канделябрах. Все, что нужно сделать, это вытаскать их. Теперь мы тоже вспомнили, что повсюду видели подсвечники со свечами, и, хотя это было

рискованно, я предложил сходить за ними. Реза попыталась удержать меня и сказала, что будет лучше, если пойдет она, потому что она женщина, ее точно не схватят и не арестуют, даже если обнаружат. Ее там никто не знает, так что она всегда сможет сказать, что поднялась наверх из лазарета. Боттенлаубен высказался в том смысле, что все, кого заметят в комнатах, где был застрелен Сомерсет, обязательно будут арестованы, поэтому будет лучше, если пойдет он или я. Мы, по крайней мере, могли защищаться. В итоге решили, что пойдем я и Реза. Она выйдет из отопительного коридора, я подожду ее внутри, а она возьмет свечи из подсвечников. Если я увижу какую-нибудь угрозу для нее, то приду на помощь.

Мы приняли это решение в полной темноте. Реза и я забрали оставшиеся спички и двинулись в путь.

Мы миновали два подвала, когда Реза внезапно остановилась.

— Нам нужно поговорить.

— Ну? — спросил я и тоже остановился.

— Послушай, — сказала она, — я пошла с тобой не для того, чтобы взять свечи.

— В смысле? — я уронил свою спичку на пол, и мы оказались во тьме.

— Я просто хотела побыть с тобой наедине, — сказала она. — Я хочу поговорить с тобой без свидетелей.

— Говори, — сказал я. — О чем ты хочешь поговорить?

Она колебалась мгновение:

— Все больше не имеет смысла.

— Что больше не имеет смысла?

— То, что ты хочешь сделать. Пойми, нам отсюда не выбраться. Самое большее, что мы сможем, это — вернуться в Конак.

— Кто тебе сказал?

— Даже если ты выберешься, тебя тут же поймают.

— Ты думаешь?

— Да. Зачем тогда искать длинный путь? В тот момент, когда вы выйдете на улицу, вас все равно арестуют.

— Я сомневаюсь в этом.

— А я нет. Неважно, откуда вы выйдете. Так почему бы тебе просто не вернуться во дворец и не сдать англичанам?

— Возможно, — ответил я, — что нам не удастся найти выход. В этом случае нам действительно придется вернуться во дворец. Но мы ни при каких обстоятельствах не будем сдаваться.

— У вас не будет выбора.

— Если нет, тогда мы попытаемся сбежать через сам Конак.

— Но тебя сразу же обнаружат.

— Тогда мы будем защищаться.

— Зачем? — закричала она. — Чего ты этим добьешься? Война подходит к концу! Англичанин это подтвердил. Было бессмысленно убивать его, гибель Аншютца тоже бессмысленна. Но, по крайней мере, тогда вы еще не знали, что отсюда нет выхода. Но теперь-то знаете. Я не могу понять, зачем подвергать себя опасности без всякой цели! Боттенлаубен, если хочет, может делать все, что ему заблагорассудится, но я не позволю тебе этого делать!

Она бросилась мне на грудь в темноте.

— Я люблю тебя! — воскликнула она. — У тебя нет права делать меня несчастной! Почему бы тебе просто не сказать англичанам, что ты сдаешься? Твое положение безнадежно. Вы не сможете оставаться здесь долго. А после войны пленных не будет. Почему вы хотите, чтобы вас ранили или убили? Разве ты не видишь, что совершенно бесполезно отстаивать дело, которое полностью проиграно?

Я помолчал мгновение, затем сказал:

— Реза, конечно, я не могу заставлять тебя, ты тоже в опасности. Так что, если ты не хочешь идти с нами, обещай мне, что, даже если тебя допросят, ты не выдашь нас. Тогда я позволю тебе пойти к англичанам...

— Что ты такое говоришь! Речь не обо мне! Это просто черт знает что такое! Почему тебе самому не пойти и не сказать, что ты сдаешься? Это из-за Боттенлаубена? Ты же тоже можешь не говорить, где он, если он не захочет пойти с нами! Он может попытаться выбраться самостоятельно. И его арестуют или убьют.

— Реза, — сказал я, — ты не понимаешь, о чем ты говоришь! Об этом не может быть и речи. Боттенлаубен — мой командир. И он им останется даже на Луне, не только в подвалах Конака. Пока мы с Боттенлаубеном существуем, существует полк. Даже если бы я захотел, я не мог бы принять решения, которое противоречит его приказам. Он точно не захочет попасть в плен.

— О, — воскликнула она, — я ненавижу его!

— Почему? Я уважаю его больше, чем многих других людей. Но даже если он приказал бы мне сдаться англичанам, я не смогу этого сделать.

— Почему нет?

— У меня наш штандарт.

— Штандарт?

— Да. Он у меня с собой. Я снял его с древка и теперь ношу с собой. Совершенно исключено, чтобы он попал в руки англичан. Пока я жив. Если меня поймут, штандарт попадет к ним. А я не позволю им меня схватить. Пока он у меня, я не сдамся. Им придется меня убить.

Наступила тишина.

— И что ты будешь с ним делать? — спросила Реза.

— Со штандартом? Я должен вернуть его. Я должен хотя бы попытаться любыми средствами вернуть его нашим.

— У тебя не получится. Это невозможно.

— Может быть, — сказал я. — Но я хотя бы сделаю все возможное.

— Ты позволишь убить себя из-за куска ткани?

— Да.

— Это безумие! — воскликнула она.

— Я не хотел бы, — сказал я, — спорить с тобой — безумие или нет защищать реликвию.

— Но теперь этот штандарт никому не нужен! Никто не знает, что он такое. Я его даже ни разу не видел. Я не могу допустить, чтобы из-за него ты подвергал себя такой опасности. Я люблю тебя! Ты понимаешь?! Я тебя люблю! Ты не можешь позволить себя убить, потому что я тоже умру, если с тобой что-то случится!

Ты не можешь отказаться от меня ради куска шелка, бесполезного и больше никому не нужного!

- Для меня, — пробормотал я, — он — это все.
- Все? — воскликнула она. — Значит больше, чем я?
- Это другое, — сказал я.
- Ответь! Значит больше, чем я?
- Да, — сказал я.

Мне сразу стало жаль, что я произнес это. Но другого ответа у меня не было. Ее руки соскользнули с моих плеч, она отступила от меня. Несколько мгновений мы каким-то образом молча смотрели друг на друга во тьме.

В конце концов она сказала изменившимся голосом:

- Зажги свет. Я принесу свечи.
- Ты сказала, что не хотела идти за ними. Я сам схожу. Подожди меня здесь.
- Нет, — сказала она, — я принесу.

Я зажег спичку. На мгновение вспышка ослепила нас. Когда глаза привыкли к свету, я взглянул на нее. Реза на меня не смотрела. Я хотел сказать ей, что она должна меня понять, но не стал ничего говорить. К тому же она уже шла вперед, а я со спичкой следовал за ней. Я попытался взять ее за руку, но она отняла ее. Мы молча поднялись по лестнице. Некоторое время прислушивались, затем откинули ковер и вошли в кладовую. Оттуда пробрались в коридор отопления. Все двери комнат были открыты, повсюду горел свет. Я вытащил пистолет и остановился в коридоре. Затем жестом попросил Резу идти дальше. Перед нами была комната рядом с той, в которой погибли Аншютц и

Сомерсет. Дверь внутрь была выломана. Тело Аншютца все еще лежало на полу. Но я не увидел Сомерсета. Его, должно быть, унесли. Огонь в камине больше не горел. Было очень тихо. Реза взяла несколько свечей из настенных подсвечников и уже собиралась вернуться, когда вдруг остановилась и взглянула на Аншютца. Некоторое время она стояла неподвижно, затем подошла к нему. Она опустилась рядом с ним на колени, проверила его карманы, но ничего особенного в них не нашла, англичане его уже обыскали. Наконец, она достала его часы, пару писем и, стоя на коленях, посмотрела ему в глаза.

Лицо уже было восковым, нос заострился. Он выглядел незнакомым. Выражение лица было снисходительным. Мы больше не были его заботой. Я забеспокоился, что кто-то в любой момент мог войти, но Реза уже поднялась и поспешила ко мне. Когда она подошла, я заметил, что она очень бледна и рука, протянувшая мне вещи Аншютца, дрожит.

— Что случилось? — прошептал я, кладя вещи в карман.

— Ничего, — выдохнула она, качая головой.

— Пойдем.

Никто нас здесь не поджидал, потому что англичане были в замешательстве и незнакомы с местом, они не понимали, что на самом деле произошло с Сомерсетом. В конце концов, они могли предположить, что Аншютц был их единственным противником. Вернувшись на лестницу, мы зажгли одну из свечей. Это была витая свеча в стиле барокко. Поначалу она горела маленьким огоньком, затем, чем больше воска таяло на фитиле, тем

ярче становилось пламя. Мы спустились по лестнице и прошли по коридору в следующий подвал.

Внезапно Реза прислонилась ко мне, как будто в один миг вдруг лишилась сил. Ее трясло, руки стали совсем холодными.

— Что случилось, — спросил я, — что с тобой?

— Я себя чувствую, — запинаясь сказала она, — нехорошо...

Я быстро подхватил ее и понес к каменным блокам у стены подвала, чтобы усадить. Голова ее безвольно откинулась к стене, она смотрела пустым взглядом прямо перед собой. Так, словно потеряла сознание.

— Боже мой, Реза, — крикнул я и схватил ее за руки, — что с тобой?

Она снова с усилием выпрямилась, но повалилась вперед, как вещь, я поймал ее. Я сел рядом, она уронила голову мне на плечо.

— У меня вдруг появилось чувство, — запинаясь сказала она, — что я тону... Что скоро все будет кончено... я не знаю... когда я посмотрела на Аншютца... это было так ужасно...

— Зачем ты подходила к нему?

— Из-за его вещей. Зачем я смотрела на него... Я пытаюсь забыть это лицо...

Она прижалась к моему плечу. Я заметил, что она плачет, и стал с ней разговаривать, но вместо того, чтобы успокоиться, она лишь сильнее прижималась ко мне, ее плач превратился в рыдания, сотрясавшие все ее тело; чем больше я пытался успокоить ее, тем безудержнее она рыдала, и в конце концов я замолчал и просто беспомощно ждал. Силы у нее, похоже,

полностью истошились. Но теперь она сама уже пыталась успокоиться, сунув себе ладонь в рот и кусая ее. Она старалась взять себя в руки, старалась не выдать нас. А мне показалось, — наверное, это было из-за необычного эха в подвале, — что она плакала не одна, но вместе с ней рыдали невидимые люди, которые могли пробегать через эти подвалы: женщины, которые цеплялись за своих мужей, беглецы из прошлого, призраки трагедий других времен, разыгравшихся здесь, в Конаке.

Я поставил свечу на пол и стал гладить Резу по волосам. Прошло еще сколько-то минут, прежде чем она начала успокаиваться. Дурное впечатление, которое произвели на меня ее недавние слова, превратилось в чувство безграничной жалости, жалости, которую может испытывать любой мужчина к любой несчастной женщине... Я поднял ее подбородок, поцеловал ее щеки и спрашивал ее снова и снова, почему она так отчаялась. Но она еще не могла говорить, а только качала головой.

— Неужели это из-за Аншютца?

— Да. Сначала из-за него, но потом, — добавила она, — я плакала, потому что я так несчастна.

— Реза! — сказал я.

— И потому что ты меня больше не любишь.

— Этого я не говорил.

Она не ответила, вытерла слезы, затем выпрямилась и внезапно попросила меня показать ей штандарт.

Я был поражен.

— Да, — сказала она, — покажи мне штандарт, который ты любишь больше меня.

— Это не так, — сказал я. — Ты все не так поняла... это просто кусок ткани.

— Покажи мне, — сказала она. — Я хочу его увидеть.

Я покачал головой и попытался улыбнуться, но она так странно посмотрела мне в глаза, что я расстегнул рубашку и вытащил штандарт. Она немедленно потянулась к нему, быстрым движением, с которым женщины тянутся ко всему, что сшито или вышито, что более им знакомо, но я не дал его ей в руки, а расстелил у себя на коленях. Сверкающий двуглавый орел развернулся, его крылья с шорохом распахнулись. В колышущемся свете штандарт мерцал, словно был живым и шевелился. Реза долго смотрела на него, нахмурившись, а я смотрел то на ткань, то на Резу. В мерцающем пламени свечи обе они казались мне одинаково нереальными, далекими и загадочными, словно чувства этих близких мне существ встретились друг с другом, это было как будто во сне. Из этой нереальности нас вырвал шум шагов, приближающихся к нам и натыкающихся по пути на стены коридора. Это был Антон, который, поскольку мы так долго не возвращались, взял на себя сомнительную задачу пойти нас искать.

Возмущенным тоном он произнес:

— Простите, если я вам помешал. Я просто уже решил, что господина прапорщика больше нет в живых. Вместо этого вы сидите и смотрите при свечах на вышивку, а господин ротмистр тем временем пребывает в крошечной тьме и изливает на меня свой гнев. Вы могли бы дать мне одну свечу, а сами прийти к нам

позже. Все-таки мы все в бегах, и наши жизни в опасности.

— Спокойно, — сказал я. — Мы идем.

Мы встали, я вернул себе и спрятал штандарт, а Реза утерла слезы. Мы последовали за Антоном, который, что-то бормоча себе под нос, шел впереди. Боттенлаубен вздохнул с облегчением, когда увидел нас и увидел, что нам удалось раздобыть свечи.

Мы снова блуждали в подвалах. Сначала мы оказались в проходе с цилиндрическим сводом, идти теперь стало гораздо безопаснее — у нас был свет. Но, пройдя через несколько подвалов, в том числе через странный шестиугольный погреб с куполообразным сводом, мы попали в помещение, коридор из которого был наглухо завален землей.

Пришлось вернуться. Я призвал всех смотреть под ноги, решив, что в тех проходах, которые используются, могут остаться чужие следы: воздух здесь неподвижный, такие следы должны были сохраняться годами. Без света мы не могли их заметить, но теперь, когда у нас были свечи, они могли бы указать нам путь. Так что когда мы вернулись в бочкообразный погреб, мы действительно заметили, помимо собственных следов, что-то вроде узкой, проторенной диким зверем тропы, ведущей в проход, где мы еще не были.

Мы решили идти по этой тропе. Она привела нас в очередные подвалы. А после того, как мы прошли два подвала, след таинственным образом исчез. Но причина вскоре прояснилась. В одной из стен была лестница, уходящая вверх, и мы подумали, что сможем по ней подняться. Но выше она оказалась тоже завалена

землей. Вдоль всей противоположной стены на полу собралась вода. Теперь стало ясно, почему следы исчезли.

Когда Дунай поднимался, грунтовые воды просачивались сюда и смывали все следы. Зато теперь мы знали, что этот наш путь по крайней мере какое-то время был правильным. Мы пошли дальше по коридору, потолок в котором заставил нас идти сильно пригнувшись. Выпрямиться удалось, лишь оказавшись в новом подвале, вернее, в настоящем средоточии маленьких подвальчиков, некоторые из которых были размером едва ли больше шкафа.

Мы сразу заподозрили, что находимся уже не в настоящих подвалах, а в бывших, видимо, когда-то засыпанных землей комнатах. Стены, окружавшие нас, казалось, были побелены или даже покрашены, хотя штукатурка от сырости давно отвалилась и теперь расползалась под ногами. Потолки были плоскими, а отдельные комнаты соединялись уже не просто проходами, а настоящими дверными проемами, которых было очень много. Все комнаты переходили одна в другую, это был настоящий лабиринт комнат.

Пол везде был довольно ровным, покрытым остатками строительного раствора и засохшей грязью. В этой грязи больше не было следов, но, приглядевшись, мы увидели, что она покрыта мелким узором, похожим на следы маленьких когтей.

— Крысы, — сказал Антон.

Мы боялись заблудиться в этом лабиринте, но у нас не было иного выбора, кроме как идти вперед. После того, как мы пересекли еще несколько подвалов

подряд, у нас появилось чувство, что мы все же заблудились, вернее, мы с самого начала не знали, куда нужно идти. Этих переходов и дверных проемов было слишком много.

Я предложил, прежде чем идти дальше, вернуться к отправной точке и оттуда как-то обозначать наш путь, например, с помощью камней, чтобы мы хотя бы могли выйти обратно.

Итак, мы повернули назад, но через несколько шагов заметили, что уже не знаем, откуда пришли. Боттенлаубен указывал на одну дверь, а Реза — на другую. Мы смотрели друг на друга и впервые почувствовали настоящую растерянность. И тут мы услышали голоса. Было просто невероятно, чтобы здесь мог находиться кто-нибудь еще, кроме нас. Я предположил, что это Антон завел сам с собой разговор. Но он держал рот на замке. Кроме того, голоса не были четкими. Это был какой-то неопределенный шум, похожий на дующий ветер, в котором различались разные тона, как в телефонном разговоре в шумном месте.

Но очень скоро мы поняли, что это могли быть голоса, которые звучали одновременно, некоторые из них были более четкими, но большинство сливалось в один общий звук, как гул большой толпы, люди в которой говорят друг с другом. Если бы голосов было всего несколько, можно было бы предположить, что где-то здесь внизу есть еще кто-то. Но вряд ли их было бы так много. Что могла делать здесь такая толпа, и как они сюда попали! Меня окатила внезапная волна ужаса, когда я подумал, что это нечеловеческие голоса. И этот ужас был сильнее страха быть обнаруженным.

Тьма вокруг действовала угнетающе, мы старались подавлять страх перед узкими проходами и страх заблудиться. Но теперь, когда тьма заговорила, стало очень трудно справиться с собой. Страх подкрался к нам вплотную, у нас перехватило дыхание, волосы встали дыбом.

Я знаю людей, которые воевали, но до сих пор не осмеливаются войти в темную комнату в одиночку; людей, которые не боялись противника на войне, но боятся темного помещения. Многие взрослые так и не смогли избавиться от страхов своего детства. Страх сильнее храбрости. Когда мы услышали этот гул голосов, всех нас внезапно охватил неизбежный детский, почти животный ужас чего-то неизвестного. Реза прижалась ко мне, Антон молчал как рыба. Мы пытались различить слова в этих голосах. Толпа людей, мертвых или живых, приближалась к нам. Звуки становились все громче, а может быть, это усиливался наш ужас. Мы все лихорадочно искали способы с ним справиться.

— Англичане! — воскликнул я. — Это англичане ищут нас!

Все ожили. Я схватил Резу за руку, и мы все побежали в том же направлении, в котором шли ранее. Уже не обращая внимания на то, что нас окружает, мы просто спешили. При этом шум голосов усиливался больше и больше; вместо того, чтобы слабеть и удаляться от нас, он перешел в резкий свист и визг, и скоро мы поняли, что это был за шум.

Пройдя в очередной проход, мы оказались в еще одном бочкообразном помещении. Это был уже не подвал, а часть канала. Посредине блестела полоса

черной воды, в которую мы не вступили только потому, что вовремя остановились. По бокам была твердая земля, но вся она буквально кишела крысами. Крысы были всех размеров, в том числе невероятно большие, почти как кролики, они роились повсюду, бегали, прыгали, перескакивали через наши ноги, ползали по стенкам и падали в воду. Сама вода кишела ими, земля рядом с ней была месивом из крыс — их стай, полков, легионов. Бесчисленные зеленые мерцающие бусины глаз смотрели на нас.

До этого нас напугал гул человекоподобных голосов, но теперь сердца заполнило чувство омерзения. Реза вскрикнула от отвращения, и мы протиснулись обратно в проем, через который пришли сюда. У крыс хватило наглости последовать за нами через пороги. Я вытащил пистолет и выстрелил в них пять или шесть раз. Эхо от выстрелов прокатилось по подвалам.

И крысы побежали. Они бежали в строго определенном направлении, справа налево. Те немногие, в кого попали пули, перевернулись в воздухе и остались лежать на земле. Остальные рванули, видимо, в сторону Дуная. Все новые стаи, иногда одни по спинам других, мчались мимо нас в панике. Топот их лап и визг на время оглушили нас. Наконец, поток крыс иссяк. Нам потребовалось несколько минут, чтобы оправиться от потрясения, вызванного этой жуткой рекой дергающихся и визжащих тварей, и решиться последовать за ними. Теперь канал был совершенно пуст, только пол был полностью покрыт натасканным сюда крысами хламом. Мы двинулись по каналу вслед за крысами. Своды над нами были вдвое выше

человеческого роста. Вода посредине была грязной, с прожилками черных нитевидных водорослей и пахла гнилью. Похоже, что этим каналом очень давно никто не пользовался. Скорее всего, он относился к тому же ушедшему в землю городу, чьей частью были все эти комнаты или дома, через которые мы пришли сюда. А может, это была часть старой канализации, которая больше не была связана с Дунаем. Например, из-за оползня. Потому что вода была стоячей.

Мы не могли определить, как далеко мы ушли, но в том направлении, в котором мы двигались, мы сделали уже более тысячи шагов. Время от времени мы проходили мимо вертикальных шахт и лестниц, которые прежде, должно быть, вели куда-то, но теперь были забиты массами грунта. Через некоторое время канал стал заворачивать вправо, и сразу после этого мы снова услышали свист крыс. Однако на этот раз агрессии было гораздо меньше — в визжащих голосах различался испуг. Мгновение мы колебались, вновь испытав то же отвращение, но пошли вперед и немедленно увидели перед собой копошасьуюся кучу крыс, которые продолжали двигаться в ту же сторону. Их нужно было как-то обойти. Реза содрогнулась от омерзения, но я подтолкнул ее, и когда мы подошли совсем близко, то увидели так называемого крысиного короля — двадцать или тридцать крыс запутались хвостами и не могли договориться, в каком направлении бежать.

Боттенлаубен быстро шагнул к ним и пинком сбросил этот жуткий клубок в канал. С громким плеском крысы упали в воду, а мы двинулись дальше. Через

несколько минут каменный свод закончился, а канал расширился до высокой пещеры неправильной формы, потолок которой был из естественного, сплошного камня. Вода внизу образовала пруд или небольшое озеро. У нас не было возможности осветить все помещение сразу, однако, пройдя по краю водоема, мы увидели противоположную стену. Пол постепенно поднимался из воды и вел в гору. По нему вперед бежали крысы. Возникла надежда, что скоро мы сможем выйти к Дунаю.

Высота пещеры подсказывала нам, что мы находимся под замковой скалой, на которой стояла крепость, и, следовательно, совсем недалеко от реки. По бокам пещеры были гроты, но мы решили в них не заходить, заключив, что и крысы побегут прятаться туда. Мы пошли вдоль воды, а потом — по насыпи, поднимающейся к скале.

Скала была почти белой, лишь изредка виднелись красные вкрапления. Стены были неправильной формы, но не с острыми выступами, а с округлыми. Кое-где вода сотворила фантастические скульптуры. Каменные занавесы, казалось, падали на гроты сверху, словно желая скрыть зверей или демонов, которые превратились в камень. Трудно было поверить, что эти каменные формы — всего лишь творение природы. А еще, недалеко от воды мы наткнулись на две небольшие каменные фигуры, которые, несомненно, были сделаны человеческими руками: одна изображала собаку или львенка с бородатой человеческой головой, другая — что-то похожее на летучую мышь, которая растопырилась в приступе похоти самым отвратитель-

ным образом. Из-за воды, которая капала с потолка и то и дело падала в озеро, фигуры были мокрыми и покрыты слоем замшелых водорослей.

Наконец мы заметили, что идем уже по настоящей тропе. На крутом склоне в скале были вырублены ступени, они вели к узкой щели.

Было похоже, что когда-то этими ступенями пользовались часто — они были истертые и очень гладкие. С потолка по-прежнему капала вода. В нишах в скале мы заметили небольшие фигурки, вырезанные из мягкого камня: приземистых существ, похожих одновременно и на людей, и на животных. На некоторых из них угадывалась шерсть или рыба чешуя, они стояли в странных позах, выступая из темноты. И было неясно, творения ли они человека или природы. Вся гора была населена окаменевшими демонами-зверями-людьми. Мы поднимались уже три или четыре минуты, когда расщелина, по которой мы следовали, внезапно расширилась и открылся вход в еще одну пещеру. Только пол и две стены в ней были высечены в скале, потолок и остальные стены были сложены из кирпича, а наверху мы увидели ряд зарешеченных люков, через которые проникал лунный свет. Это был первый проблеск верхнего мира, вновь явившийся нам по прошествии долгих часов, когда мы почти поверили, что уже не сможем выбраться наружу. Похоже, мы были в одном из подвалов крепости. Кирпичная лестница, усыпанная каменной крошкой, вела к стене со смотровыми люками и заканчивалась наверху железной дверью.

Мы переглянулись, давая понять друг другу, что, чтобы нас не обнаружили, придется снова быть очень

осторожными. Нетрудно было предположить, что англичане в первую очередь займут крепость. Итак, мы потушили свечи, затем поднялись по лестнице. Железная дверь, как и ожидалось, была заперта. И, похоже, она вела не наружу, а в очередное помещение: сквозь щели между дверью и рамой не проникал свет. Немного подумав, мы решили хотя бы попытаться выглянуть в один из люков. Мне удалось наклониться в сторону так, чтобы одной рукой ухватиться за решетку люка; потом я схватился за нее и другой рукой, подтянулся и выглянул наружу. Передо мной в свете луны лежал крепостной двор. Он был полон лошадей и людей. Английский кавалерийский отряд расположился в крепости, солдаты стояли, спешившись, группами рядом со своими лошадьми. Я с трудом развернулся и спрыгнул на лестницу. Боттенлаубен и Антон подхватили меня, не дав упасть.

— Ну? — спросил Боттенлаубен.

— Англичане, — сказал я.

— Этого следовало ожидать.

Так что здесь нам было не пройти. Мы спустились по лестнице обратно и огляделись. Прямо рядом с нами на кирпичном основании, как на катафалке, лежало каменное изваяние. Скульптура была большая, даже в тусклом свете читались грубоватые черты лица и старинное облачение. Ноги были скрещены, одна рука лежала под головой, другая на груди. Догадаться, кто это, было невозможно. Никаких надписей не было.

Намного позже я узнал, что в прошлом эта каменная фигура лежала на валу крепости и волшебным

образом ее защищала, из-за чего у крепости была слава неприступной. Но когда принц Евгений наконец взял эту крепость, он приказал перенести скульптуру в подвал. С тех пор крепость переходила из одних рук в другие. В любом случае, наше открытие нам ничего не дало. Мы зажгли еще одну свечу, стараясь, чтобы ее свет не попал в оконные люки, и осветили стены. Стены были толстыми, но пористыми, словно из губки. Впрочем, большинство отверстий были слишком маленькими, чтобы попытаться пролезть через них наружу. Мы нашли только одно, в которое можно было протиснуться. За ним начинался естественный проход, и не было никаких признаков того, что кто-то раньше им пользовался. Проход сперва расширился, но затем вновь сузился.

Почва у нас под ногами состояла теперь из крупной и мелкой гальки, по которой стекала вода. Над головой пролетело несколько летучих мышей. Мы были словно внутри губки, в стенках было множество пор, которые смотрели на нас тысячами пустых глазниц.

Сквозь эти поры, вероятно, могли бы проникать те странные существа, фигурки которых мы успели разглядеть, — маленькие полулюди-полужвери, демоны, ныне окаменевшие и притаившиеся в нишах стены на нашем пути вверх.

Позднее я много раз мысленно возвращался к загадочным интерьерам этого скального замка. Очевидно, они имели сходство с так называемыми кальвариями. Кальварий считают последними обитателями демонического, доисторического мира, который по сей день выглядывает иногда в наш мир из морских

скал. Считается, что там эти допотопные сморщенные лемуры, карликовые зверолюди, рыболюди и уродливые похотливые отпрыски демонов продолжали жить до тех пор, пока сверху не воздвигали крест, а у подножия таких гор строили часовни, чтобы демоны и чудовища навеки уснули в камне.

Проход, по которому мы шли, сузился наконец настолько, что нам пришлось ползти. И когда мы уже подумывали, а не повернуть ли назад, перед нами возникло голубоватое мерцание, подобное лунному свету.

Через двадцать или тридцать шагов мы оказались сперва на скале, а в следующий момент уже шли по рыхлой земле, продираясь через заросли ежевики. Внезапно для самих себя мы очутились на открытом воздухе. Мы стояли на середине склона крепостной горы, которая здесь круто спускалась к Дунаю. В лунном свете сквозь туман проступала огромная блестящая лента реки, а за ней открывался вид на бескрайнюю, расплывающуюся вдали равнину.

В полном изнеможении мы сидели у выхода из пещеры, и Боттенлаубен сказал, что нам не стоит идти дальше по склону. Предположительно, стены крепости над нами охраняются английскими часовыми, которые должны наблюдать за подступами. Сейчас от их взоров нас скрывали кусты ежевики.

Было около трех часов утра, мы несказанно устали после всех наших приключений. Мы радовались свежему воздуху.

И с облегчением вздохнули, когда спустились с горы и, оглядевшись, спрятались в кустах. Отсюда хорошо было видно часть города и причал. Нужно было придумать, как нам добраться до другого берега. Мы знали, что мосты заняты англичанами. Оставался только один способ переправиться через Дунай — вплавь, на лодке.

Позавчера, когда мы переходили реку, мы видели лодки, большие и маленькие, и еще несколько грузовых судов и барж, вытасканных на берег. Между городом и крепостью находились две небольшие пристани, и там мы тоже видели баржи и лодки. Вопрос был только в том, как незаметно спуститься и заполучить такую лодку. Мы предполагали, что кроме часовых, наблюдавших из крепости, на берегу реки могли быть

посты либо пешие или конные патрули. Но, конечно, ничего этого мы не увидели, все было тихо, и никого, даже местных жителей, не было.

После стольких трудностей нам очень не хотелось подвергать себя риску попасть в руки англичан. Мы начали придумывать план, как завладеть лодкой, когда внезапно произошло событие, избавившее нас от раздумий. На венгерском берегу, недалеко от лодок, вдруг раздались несколько выстрелов, за которыми вскоре последовал треск пулеметных очередей. В то же время мы заметили какое-то движение на крепостных стенах над нами, с городского берега тоже начали стрелять, но огонь с венгерской стороны только усилился, отдельные пули долетали до нас и вбивались в склон.

Мы не понимали, что случилось, и узнали обо всем лишь позже. Когда гусарская дивизия в Эрменье получила известие о том, что английские части вышли на венгерский берег, гусары двинулись вверх по реке, спешили для перестрелки и, располагая примерно полутора тысячами карабинов и пулеметами, атаковали плацдарм. Перед лицом подавляющего огня, ведущегося из камышей, англичане очень скоро поняли, что не смогут удержаться. Чтобы избежать нависшей опасности попасть в плен, они своевременно оставили позицию и отступили по мосту назад. Но в дело вмешалась гусарская артиллерия. Англичане, решив, что венгры намереваются их преследовать, решили разрушить за собой мост. Они без труда разобрались в его устройстве и просто расцепили понтоны, которые поплыли вниз по течению.

Железнодорожный мост они взорвали. Не зная, с какими силами они столкнулись, англичане на всякий случай разрушили оба моста, чтобы не подвергать опасности свои позиции в так быстро захваченном городе. Нельзя было не воспользоваться этой общей неразберихой. Мы сбежали к реке, к пристаням, нас никто не остановил, хотя рядом с нами регулярно свистели пули. На берегу мы нашли несколько лодок или, скорее, барж. Конечно, они были пришвартованы к причалам цепями и заперты на замки. Прыгнув в одну из барж, мы перебили цепь веслами, найденными на дне лодки. Через мгновение течение подхватило нас и понесло вниз. Венгры перестали стрелять. Судя по всему, очистив берег от англичан, они достигли своей цели. Облака тумана, приведенные в движение множеством выстрелов, скрыли нас в нужный момент. Мы плыли между остатками понтонного моста, затем под взорванным местом, уносясь вниз по течению все дальше и дальше от города, и спустя полчаса оказались на венгерском берегу возле Панцовой.

Панцова — небольшой город. Но все-таки город, и на его жизни в полной мере отразилась общая катастрофа. Здесь было много военных, которые все еще рассчитывали уйти на судах по реке, крестьяне, мелкая буржуазия и беженцы всех мастей. Все они стремились спастись от приближающихся войск противника. Одного взгляда на всех этих людей было достаточно, чтобы понять, что если здесь все так безрадостно, то подобная же ситуация и в других городах.

Солдаты, некоторые без вещмешков, другие, наоборот, навьюченные всяким хламом, который они где-то подобрали, по большей части без оружия, забыв о дисциплине, куда-то шли. Они принадлежали к разным полкам и даже разным армиям. Глядя на них, можно было понять, какие огромные массы войск уже распущены. Улицы были усыпаны брошенными противогАЗами, патронами, лопатами и шлемами. Никто из этих солдат больше не думал воевать, они просто хотели вернуться домой, заняться своими делами, они были стадом без пастуха, пролетарий одержал верх над солдатом, это был конец.

Было нелепо искать здесь командиров, чтобы поступить в их распоряжение. Нам удалось сбежать из английского окружения только для того, чтобы оказаться внутри хаоса. Венгерские части, конечно, остались на своих местах, но все остальные — поляки, чехи, хорваты, румыны — вдруг забыли, что до сих пор у них было общее, единое государство, они бросили все, что им больше было не нужно, взяли то, что, по их мнению, им могло пригодиться, и отправились по домам.

Мы сказали друг другу, что для нас самым разумным будет вернуться в Австрию. Колонии были потеряны. Мы это видели. Люди вокруг кричали друг на друга на всех своих языках, которых мы не понимали.

Оставалась старая Австрия. Ее царство было священо. Оно не могло пасть.

Когда около шести утра подошел поезд, состоящий из нескольких грязных, неосвещенных вагонов третьего класса без единого целого стекла, на вокзале сразу стало тесно. Нам удалось попасть внутрь в ос-

новном благодаря энергичным движениям рук рослого Боттенлаубена, который шел впереди, тогда как мы с Антоном прикрывали Резу с флангов. В конце концов, мы оказались в одном из вагонов — давка в нем была неописуемая. Булавка не могла бы упасть на пол. В тамбурах было не лучше. Несколько штабных офицеров ворвались в уборную, засели в ней и никому не давали туда войти.

Поезд стоял на станции два часа. Начался день, и влажный зловонный туман, смешанный с сажей и дымом, окутал все. О каком-либо удобстве пассажиров речи не было. Люди сидели на своем багаже. Мы были без багажа, поэтому мы стояли. Народу набилось, как сельдей в бочке. Все другие запахи перекрывал запах неделю не мытых тел, терпеть его помогали разбитые окна. Боттенлаубен смотрел на нас и качал головой. Было непонятно, почему он это делает. Он просто качал головой. Это была единственная возможность делать хоть что-нибудь — качать головой. Просто поразительно, что все остальные не качали головами. Но они этого не делали. И вроде бы даже не думали об этом. Никто не ругался, казалось, люди даже довольны происходящим: они просто ехали домой. И, вместе с ними, мы тоже ехали домой. В какой-то момент мы даже заметили, что начинаем привыкать к новым условиям.

Наконец, когда поезд уже очень долго стоял на вокзале, нам стало ясно, что наше путешествие займет гораздо больше времени, и просто купили четыре места в одном из купе и сели. Мы не пожалели за них сотню крон. Правда, Антон сказал, что мы могли бы получить места и за меньшие деньги. В конце концов,

мы были людьми старой эпохи. Те, кто продал нам свои места, устроились на полу в общем проходе; они, казалось, чувствовали себя там вполне комфортно. Тем временем все больше людей залезали через окна, потому что не могли попасть внутрь обычным путем, некоторые забирались на крышу вагона. Наконец, поезд тронулся.

До Сегеда мы добирались целые сутки, и нам очень повезло, что поезд подолгу стоял в Надь-Бечкереке и Надь-Кикинде. В обоих случаях нам удавалось раздобыть немного еды и сигарет. Люди в купе были очень добродушными и делали вид, что не замечают наши с Боттенлаубеном офицерские знаки различия. Но симпатичнее всех была женщина с маленьким ребенком. Она со всеми болтала и сказала, что она-то вообще никуда не торопится, просто бабушка и дедушка ее ребенка живут в Кошице, и они ни разу не видели внука, а поскольку ее муж — рабочий-железнодорожник, она может путешествовать бесплатно и теперь едет в Кошице, чтобы показать внука бабушке и дедушке. Она не замечала никаких неудобств, и происходящее в мире ее не впечатляло. В общем, наши попутчики отнюдь не переживали из-за того, что ситуация грозила вот-вот превратиться в хаос. Антон чувствовал себя обязанным уделять внимание ребенку. Каждый раз, когда мать выходила за чем-нибудь из купе, он мог полчаса или даже час подряд развлекать малыша. Ребенку было полтора года, но он уже пил кофе, который его мать время от времени варила на спиртовой горелке. Реза сказала, что он милый. Но очень грязный. Мы все были очень грязными. Реза тоже играла с ребен-

ком, он смеялся и тянул к ней ручки. Но особенно его радовала борода Антона, а вот Антона больше всего интересовало, как у малыша с зубами, видимо потому, что свои у него повыпадали. Он заглянул ребенку в рот, затем снял перчатки и проверил, крепко ли сидят зубы. Потом он полез в рот к себе, сравнить, как обстоят дела у него самого. Я сказал ему так не делать. Он смутился.

— Простите, господин прапорщик, я просто хотел убедиться, что с зубами все в порядке.

Женщина спросила, есть ли у него жена и дети.

— Нет, госпожа, — ответил Антон, — я не женат, я старый солдат, с оружием в руках некогда заводить детей. Но я многих качал на руках, например, вот господина прапорщика, с зубами которого у меня было много хлопот. Когда у него резались молочные зубки, он так кричал, что мне приходилось носить его по комнате и петь. Помните, господин прапорщик?

И пока я угрожающе смотрел на него и мотал головой в ответ, женщина повернулась к Резе и спросила, есть ли у нее дети, что Резу очень смутило, а я, увидев ее смущение, ощутил прилив крови к лицу. Реза посмотрела на меня, ее взгляд смутил меня еще сильнее: мне вдруг показалось, что я вижу уже не девушку, а женщину, и я пробормотал:

— Давайте закроем эту тему!

На что Антон весело сказал:

— И не говорите, господин прапорщик!

И, повернувшись к Резе, добавил:

— Надеюсь, что еще смогу понянчить детишек.

Похоже, что как бы мало он ни был знаком с Резой, он чувствовал к ней привязанность.

Между тем мы со штандартом прибыли в Сегед. Поезд пришел рано утром. Большую часть пути мы проспали, не заботясь о том, что происходит вокруг. Изрядно измученные, мы вышли из вагона, пожелав женщине и ребенку удачи в пути, и она поехала дальше в Кошице. Мы попытались найти гостиницу, чтобы помыться и выспаться. Но нам сказали, что мест в гостиницах нигде нет. Как ни странно, нас это не слишком расстроило. Все случившееся сильно изменило всех нас. Когда рушится государство, совсем не обязательно мыться. Хотя наш вид уже несомненно бросался в глаза.

Шинель Боттенлаубена после наших блужданий под белградской крепостью была измазана землей. Наши лица были все в саже. Волосы Резы спутались. Но ей было все равно.

В конце концов, мы умылись водой из колонки, где брали воду для хозяйственных нужд и вокруг которой толпился народ. Железнодорожная станция была полна войск, шедших из Румынии. В знак национального восстания по всей Венгрии были вывешены красно-бело-зеленые флаги.

Мы стояли на платформе и смотрели на проходящие поезда. Это были вагоны для скота, набитые людьми. Лошадей и артиллерии видно не было. Их оставили на границе. Пассажирских поездов тоже почти не было, а те немногие были переполнены. Попасть внутрь вряд ли было возможно.

Большинство полков уже расформировали, случайным образом перемешанные бригады просто ехали домой. Но были и полки, которые не разошлись: венгерский, польский и чешский. Солдаты украсили вагоны

и ехали с песнями. Они надеялись на будущую Венгрию, Польшу, Богемию. А на что надеялись мы? Думаю, уже тогда мы вновь надеялись на империю. Империя — это было святое. Ее необходимо было воскресить.

Чешские полки были из тех, кто не хотел разоружаться. Мы стояли и наблюдали за отправкой чешских солдат, которые вели себя дисциплинированно, и у них было достаточно места — очевидно, им было выделено необходимое количество вагонов, а офицеры ехали в двух отдельных. Один подполковник стоял у окна такого вагона и смотрел на нас. Наконец он спросил, чего мы ждем.

Мы сказали, что ждем возможности уехать.

Он ответил, что так можно долго ждать. Продолжая смотреть на нас, особенно на Резу, он, казалось, о чем-то задумался. Наконец он спросил, что с нами делает молодая дама. Мы сказали, что она путешествует с нами.

— И куда вам нужно? — спросил он.

Мы сказали, что в Вену. Он опять задумался и отошел от окна. В то же время Боттенлаубен разглядывал офицерский вагон, а затем сказал, что, по его мнению, там еще достаточно места и что нам нужно туда попасть.

Но Антон, хотя его вообще-то не спрашивали, сразу сказал, что в один вагон с чехами он не сядет. Я только собирался заткнуть ему рот, как подполковник спустился из вагона и подошел к нам.

— Прошу вас, — сказал он, — от своего имени и от имени остальных офицеров присоединиться к нам.

В это же время из окон вагона выглянули еще несколько офицеров.

Мы поблагодарили его, я подтолкнул Антона, и мы поднялись в вагон.

Подполковник, фамилия которого была Моравец, сказал, что поговорил с офицерами и они не против, чтобы он пригласил нас сесть в поезд. Он немного помаялся, но затем познакомил нас со своими офицерами. Поезд, объяснил он, идет прямо в Богемию, но немецкоязычные солдаты и некоторые офицеры отправятся в Австрию, предположительно из Будапешта.

Нас приняли, конечно, благодаря Резе, и приняли радушно. К нам подходили молодые офицеры, которые разглядывали Резу, но сразу же опускали глаза, как только она смотрела на них в ответ. Мы с Боттенлаубеном получили одно купе на двоих, Реза — отдельное купе. Нам срочно освободили места. В основном, все старались для Резы. Мы сидели, хотя нам очень хотелось растянуться на мягких сиденьях, и поддерживали разговор. Вскоре беседу вела только Реза, а мы просто смотрели в окна.

Это был прекрасный день.

Наконец поезд тронулся.

Путь до Пресбурга¹ занял три дня. Путешествие в целом было спокойным и проходило без осложнений. Из Будапешта большинство полкового начальства отправилось в Богемию, но состав с солдатскими и офицерскими вагонами пошел к австрийской границе.

Нам много пришлось разговаривать с офицерами; ухаживая за Резой, они и думать забыли о ситу-

¹ Немецкое название Братиславы.

ации, в которой оказались. Однако когда мы оставались одни, мы почти все время молчали: мы с Боттенлаубеном время от времени смотрели друг на друга, а Реза просто сидела рядом со мной и держала меня за руку. Теперь в ее глазах часто стояли слезы, и один раз она опять сказала, что больше ничего для меня не значит.

Я смог выдать из себя несколько примирительных фраз. Я гладил ее по волосам, но на самом деле не знал, что сказать. Иногда, когда я оставался один, я вытаскивал из-за пазухи штандарт и расстилал его на коленях. Рассматривал его, закрывал глаза, касался пальцами вышивки, как это делают слепые. Я представлял, что он снова в бою ведет за собой эскадрон за эскадроном. Я мечтал о том дне, когда его вернут на древко и поднимут перед полком. Я должен был вернуть его, и тогда он снова поведет за собой.

В дороге мы просмотрели письма, которые Реза нашла у Аншютца, и решили отправить их вместе с чадами погибшего фрау фон Аншютц (которая позже сообщила мне, что через несколько месяцев англичане также передали ей остальную часть его вещей). Письма, которые оказались у нас, были написаны женой Аншютца, и мы сразу перестали их читать, когда заметили, что они очень личного свойства. Но тут же оказались и письма, написанные самим Аншютцем, они были совсем иного содержания, которое задело нас за живое и вызвало горячий спор. Одно письмо касалось разговора ротмистра Хакенберга с Хайстером незадолго до гибели прапорщика. Аншютц, несомнен-

но, много думал об этом в последние дни. Странно, но письмо было написано поэтическими строфами. И человек, от лица которого говорилось в этом стихотворении, похоже, был не Аншютц, а кто-то другой, как будто бы Хакенберг. Строки гласили:

В пути на восток.
Солдат видел я,
Под шлемами лица,
С ними был человек
На коне, с двумя псами.
На зайца
Указал я собакам,
Побежали они напрямую.
А он наутек, в чашу,
Сбросил я всадника с лошади.

Я стоял, где он пал,
Я взял его одежду и обличье,
Сел на его коня,
Свистнул его собакам,
Вернулся к солдатам.

Я проскакал по кругу,
Сотворил колдовство,
Дунул в пустую ладонь,
Мост рухнул,
И шлемы затянули
Мертвых в реку.

За этим следовали, без каких-либо переходов, еще девятнадцать строк, которые, как я позже выяснил, принадлежали не самому Аншютцу, а представляли собой отрывки из старинных песен. Они звучали так:

Я часть пятнадцати богов
И четырнадцать богинь.
Первым был Скиф.
Он был мой сын.
В пятнадцатом колене
Я вновь породил себя.

Гримом меня звали,
Меня звали Гангматтом,
Правителем и воином,
Повелителем желаний и магом,
Носителем плаща,
Обманщиком армий.

Теперь я Хар,
Иггом звали раньше,
Несколько дней назад
Меня звали Тунд.
Имени не было у меня,
Когда я пошел в народ.

Не иначе безумие завладело Аншютцем, решившим, что Хакенберг, которого он считал виновником нашей судьбы, был вовсе не самим собой, а демоном или призраком, вселившимся в тело Хакенберга. А может, то были четыре демона, которые завладели телами Хакенберга, его лошади и двух его собак, чтобы уничтожить нас. Действительно, Аншютц однажды пытался рассказать нам о своих фантастических предположениях, но, когда Боттенлаубен спросил, не сошел ли он с ума, Аншютц не стал продолжать. Теперьто, будучи уже по ту сторону, он точно знал, как все обстоит на самом деле. Между тем Боттенлаубен долго держал листок в руках, задумавшись, казалось, не

только об Аншютце: позже он несколько раз перечитывал эти строки.

— Все это, — сказал он наконец, — очень странно... Если Аншютц знал Хакенберга раньше и заявляет здесь, что человек, которого мы видели, был вовсе не Хакенберг, он должен был предположить, что мертвый Хакенберг все еще находился где-то... в чаще, так это здесь называется.

— Вовсе нет, — сказал я. — Он просто говорит, что кто-то другой вселился в его тело.

— Но долго он в нем не проходил. Довольно скоро он оставил его... Бедный Аншютц! Если бы он не погиб, он бы действительно сошел с ума. А может, уже сошел. Он так странно говорил... в конце концов: не исключено, что этот старик... — тут он замолчал и вернул мне лист.

После Боттенлаубен говорил совсем о другом. Но у меня создалось впечатление, что он думал о так называемом старике больше, чем готов был признать. В любом случае, все это оставалось таким же неясным и неопределенным, как и многое другое, что произошло с нами. Вокруг разворачивались неслыханные события. Почему бы в такой момент чему-то таинственному не коснуться каждого из нас. Империя уходила. Но когда она вернется, она будет править во всех нас.

9 ноября в одиннадцать часов утра мы были в Пресбурге.

Погода все время стояла прекрасная, венгерские офицеры на вокзале грелись на солнышке и заявили,

что им приказано забрать у нас оружие, потому что нам не позволено пересекать границу с оружием.

Боттенлаубен разбушевался и кричал, что лучше бы они так переживали за Австрию, как за наше оружие. Однако я отстегнул кобуру и положил ее с пистолетом на стол, на котором уже лежало оружие других. Затем бросил взгляд на Боттенлаубена, и, как ни странно, он тоже положил свой пистолет.

— Нам нужно добраться до места, — сказал я ему. — Нет смысла пререкаться с этими людьми.

Но наша неожиданная покладистость, очевидно, вызвала какие-то подозрения. Во всяком случае, двое подошли к нам, чтобы обыскать. Конечно, они больше не нашли никакого оружия, но тот, кто осматривал меня, заметил, что у меня что-то спрятано за пазухой. Штандарт. Прежде чем я успел остановить венгра, он уже оторвал две или три пуговицы на моей рубаше и в глаза ему сверкнула золотая вышивка. По его словам, я должен был оставить им и штандарт.

Я был совершенно готов схватить один из пистолетов, лежащих на столе, и застрелить его, но вместо этого очень спокойно сказал, что штандарт — это не оружие.

- Его нужно оставить, — ответил он.
- Я так не думаю, — сказал я.
- Думаете или нет, его нужно оставить здесь.
- Тогда позовите сюда коменданта станции, чтобы он подтвердил это.
- Вряд ли он придет сюда из-за вас.
- Значит, ведите меня к нему, — потребовал я.

Венгр переглянулся с остальными и сказал, что готов это сделать.

А я ждал. Меня беспокоило, что Боттенлаубен может впасть в гнев и все быстро закончится. Но Боттенлаубен сдержался, а я кивком попросил его и Резу пойти со мной. Оценив силы офицера, который должен был нас сопровождать, я решил, что легко справлюсь с ним.

Когда мы покинули платформу и спускались по лестнице, я сказал Резе по-французски:

— Ты поедешь в Вену с Антоном, а Боттенлаубен и я попробуем пересечь границу в другом месте, чтобы попасть на Северную железную дорогу. Так мы сможем добраться до Вены. Приедем ночью или самое позднее завтра утром. Пусть Антон встретит нас на вокзале. Ты поняла?

— Да, — сказала она.

— Стой на месте.

— На каком языке вы там говорите? — спросил офицер.

— Это итальянский, — сказал я. — Мы из Триеста.

Тем временем мы с ним уже поднимались по другой лестнице. Реза осталась на месте.

— Нет, — сказал офицер, когда мы шли вверх по ступеням, — это не итальянский язык. Это было по-французски. Ты думаешь, я настолько неграмотен, что не пойму?

Я оглянулся на Резу, но она уже исчезла из виду.

— Разве? — ответил я. — Французский? Ты уверен? Ты просто не понял.

Он заколебался, прежде чем что-то сказать.

— Теперь ты и сам понимаешь, что это был итальянский.

С этими словами я сбил его с ног. Я вложил в удар всю злость, которую чувствовал к этому человеку. В любом случае, он упал. Он скатился по ступенькам, сильно ударившись головой. Не беспокоясь о нем, мы сразу побежали вверх по лестнице. В этот момент там было еще несколько человек. Но они не знали, что происходит, и пока они смотрели на нас, мы уже вошли в здание вокзала. Здесь мы замедлили шаг, как ни в чем не бывало пересекли зал ожидания и вышли на улицу. Теперь нужно было спешить, чтобы успеть затеряться в городе.

Если кто-то и последовал за нами, то нас все равно не поймали. Сбитый мной с ног офицер вряд ли мог так быстро прийти в себя, а остальные, скорее всего, не помнили наших лиц. Меня беспокоило то, что они могут заставить говорить Резу или Антона. Но Антон вообще остался в поезде, на момент сдачи оружия у него давно уже не было карабина. Что касается Резы, то позже выяснилось, что она, разумно рассудив, спряталась в вагоне с рядовыми, пока поезд не пересек границу. Офицеры в нашем вагоне сразу поняли, что что-то произошло, но только пожимали плечами, когда их допрашивали. Они сказали, что не знают, кто мы такие. Мы просто ехали с ними, но подробностей о нас они не знают, они из других полков.

В любом случае, Реза и Антон добрались до Вены. Мы с Боттенлаубеном какое-то время бродили по городу, проверяя, не идет ли кто-нибудь за нами. Но,

не заметив ничего такого, мы отправились искать транспорт.

Мы намеревались проехать на север так далеко, насколько возможно, и пройти между венгерскими постами, которые, несомненно, стояли на границе повсюду. Нам нужно было попасть на северную железнодорожную линию, а по ней уже можно было добраться куда угодно.

Однако большинство извозчиков и владельцев машин не соглашались на такую дальнюю поездку. Лошадей трудно будет кормить по дороге, а деньги, которые раньше решали дело, теперь теряли свой вес день ото дня. Иными словами, везти нас никто не хотел. К тому же мы не говорили прямо, куда нам нужно, опасаясь выдать себя возможным преследователям.

В итоге нам посоветовали поговорить с молодым человеком, который остановился во дворе гостиницы: он накануне приехал из Словакии и сегодня собирался возвращаться назад. Нам сказали, что нам с ним по пути (хотя мы точно не говорили, куда направляемся), так что, может быть, он возьмет нас с собой.

Когда мы увидели парня и повозку, у нас сразу сложилось впечатление, что мы имеем дело с кучером из поместья, который решил немного подзаработать. Повозка была чем-то вроде охотничьей брички с хорошими скаковыми лошадьми; возницу послали в город, чтобы привезти домой покупки, которые лежали здесь же, под сиденьями. Самому парню возможность заработать несколько лишних крон на стороне показалась весьма заманчивой. В итоге мы договорились с ним о

цене и, перекусив в гостинице, около двух часов дня уехали из Пресбурга.

Сначала наш путь лежал в Девень-Уйфалу, затем через Зохор и Надьмагашфалу в Мадьярфалучук. День был довольно теплый, мы удобно устроились, накинув плед на колени, а парень болтал о том о сем на своем бедном немецком. Когда мы прибыли в Мадьярфалучук, было, наверное, часов шесть вечера и уже совсем темно. Мы собирались сойти здесь и пешком дойти по темноте до Штильфрида, который находится уже в Австрии. Но тут выяснилось, что берег реки Моравы контролируется венгерскими постами, которые еще и усилены, но вовсе не из-за австрийцев, а из-за чехов, которые, как мы слышали, выдвинулись большими силами и, похоже, намеревались добраться до всех славянских районов, за исключением городов. Вот и всё. Новые государства уже начали оспаривать границы друг друга.

После краткого обсуждения мы решили проехать немного дальше на север и действительно увидели венгерских солдат на выезде из Мадьярфалучука. Пришлось свернуть в сторону Гаяр. Луна еще не взошла, и фонари нашей повозки отбрасывали перед собой качающийся свет. Над нами возвышался купол ночного неба, иссиня-черного со множеством сияющих звезд. Боттенлаубен посмотрел на звезды и сказал, что чувствует себя почти дома.

Так и было. Потому что то, чему суждено было случиться в следующие несколько часов, можно считать совершенно бессмысленным совпадением. С тех пор

я много раз думал об этом и понял, что не было ничего более значимого и неизбежного, чем то несчастье, которое постигло нас вскоре. Все сложилось так, как должно было, и я, хотя впоследствии считал себя виноватым, никак не мог этого предотвратить. Случилось то, что случилось. И тот факт, что звезды тогда предстали перед нами так ясно и что Боттенлаубен так долго смотрел на них, заставляет меня думать, что его судьба была в них предначертана.

В восемь мы миновали Гаяры. Но сразу за деревней нас остановили посреди дороги. Оказалось, что это чешский авангард. Когда несколько солдат вышли на свет огней брички и стали задавать вопросы, на которые наш возница отвечал по-славянски, мы уже представляли себе, что будет дальше. Пехотинцы были хорошо экипированы и заметно дисциплинированы. Мы рассмотрели лица этих людей. Подошел офицер и спросил нас по-немецки, что мы здесь делаем.

— Мы возвращаемся, — ответил Боттенлаубен почти сразу, — возвращаемся домой с войны, хотим повидать друзей, живущих в Нижней Австрии, и погостить у них несколько дней. А затем продолжить путь.

Офицер попытался разглядеть нас в лицо, но почти ничего не увидел, потому что мы сидели в темноте позади фонарей. Затем он спросил, как называется место, куда мы направляемся.

Боттенлаубен, который совсем не знал этих мест, не ответил, да и я не нашелся, что сказать. Следовало бы назвать Дюрнкрут, который находился на австрийской стороне, но это название не пришло мне в голо-

ву, вероятно потому, что я не ждал ничего хорошего от встречи с чехами. В любом случае, наше молчание, а также, вероятно, силуэт плоской немецкой фуражки Боттенлаубена офицера озадачили, и он сказал:

— Вряд ли вы оказались здесь ночью с этой целью. Вам придется пройти со мной.

Что ж, наверное, так и нужно было поступить. Скорее всего, нас бы просто допросили и через некоторое время пропустили бы дальше. Но ситуация вывела нас или, по крайней мере, меня из равновесия. Я испугался, что у меня снова найдут штандарт и повторится то же, что было в Пресбурге. Поэтому я решил больше не зависеть от чего-то подобного. Офицер стоял рядом с Боттенлаубеном, сидевшим справа от меня, и ожидал, что мы выйдем из брочки. Тем временем я незаметно поднялся со своего места, протянул руку вперед и взял поводья перед руками возницы. Затем резко вытащил кнут из стойки возле кучерского сиденья и со всей силы хлестнул лошадей по крупам. И в то же время дернул поводья влево. Лошади широким шагом двинулись вперед, круто повернули налево, перепрыгнули через канаву и помчали между тополями в поле.

Мы чуть не опрокинулись. Парень-возница хотел было возразить и отобрать у меня поводья, но теперь, когда нам вдогонку начали стрелять, я крикнул ему, что прикончу его и что лучше ему погасить фонари, чтобы не было видно, где мы. От страха он так и сделал. Потому что стрельба позади нас не прекращалась. Я слепо направил лошадей в ночное поле, рискуя опрокинуть повозку и свернуть шею. Но по крайней мере теперь, когда фонари были погашены,

пули больше не летели нам вслед. Тем не менее я не сдерживал лошадей, пока не увидел перед собой ряд ив, за которыми точно был берег Моравы. Стрельба позади нас прекратилась. Я пустил лошадей рысью и сказал:

— Нам повезло, граф, что мы не врезались в какой-нибудь забор и не свалились в канаву. Если Бог даст, то и пограничных постов здесь больше не будет. В любом случае, простите меня за эту неожиданную выходку.

Но ответа я не получил.

— Граф Боттенлаубен! — повторил я.

Ответа не было, я остановил лошадей и обернулся. Боттенлаубен наполовину сполз с сиденья и лежал между передней и задней скамьями. Он не двигался. Я почувствовал, что мое сердце сейчас остановится.

— Граф! — крикнул я. — Что с вами? Вы ранены?

Было невероятно, что его не выбросило из брички. Но когда я наклонился над ним, я заметил, что он цепляется за скамейку. Он еще мог говорить.

— Юнкер, — выдавил он, — здесь нельзя оставаться. За нами погоня. Спасайте нас.

И он потерял сознание. Куда он был ранен, я не знал. Но, выпрямившись, увидел, что перчатки мои в крови. На мгновение от нахлынувшей слабости я сам упал на колени, как от удара.

— Иди сюда, — скомандовал я кучеру, запинаясь, — держи графа!

Пока тот перелезал через переднюю скамейку, я занял его место и взял поводья. Песчаный луг, по которому мы теперь ехали, доходил до самой Моравы.

Я поехал прямо к реке. Но я так переживал за Боттенлаубена, что почти не обращал внимания на то, куда мы едем. Только теперь я понял, как много этот человек для меня значил. Между кустами ивы я вслепую направлял повозку к воде. Никаких постов здесь не оказалось. Если бы мы наткнулись на них, я бы, наверное, попытался забить их насмерть кнутом. Нужно было переправиться через реку, найти местных жителей и послать за врачом. Берег здесь был довольно пологий. Лошади на мгновение заколебались, я хлестнул их по спинам, и они рывком потянули повозку в воду.

Вода сразу достигла плеч. К счастью, бричка была очень высокой, из тех, в которых хорошо сидеть и стрелять. Колеса увязали в иле. Но мы уже, похоже, достигли самого глубокого места, потому что сразу же начали подниматься из воды. В конце концов мы перебрались на другой берег, лошади получили еще один хлыст и снова потащили бричку вперед.

Вскоре колеса застряли в озими.

— Положи графу голову на сиденье! — крикнул я парню.

— Да, сейчас, — ответил он. — Хорошо. А куда вы едете?

— Заткнись! — заорал я.

В следующую минуту мы выехали на грунтовую дорогу, и впереди показались очертания деревни. Это был Йеденшпайген. В домах еще горел свет. Я направил лошадей на церковную площадь, на ней я увидел одноэтажный дом. Вероятно, дом священника. Я соскочил с брички и так забарабанил в дверь, что из дома немедленно выскочили священник и горничная.

— У меня раненый! — крикнул я им. — Помогите перенести его в дом. Пошлите за доктором!

С помощью кучера и священника я поднял Боттенлаубена из повозки. Священник сказал, что в деревне нет врача. Врач в Дюрнкруте. Тогда я приказал кучеру, чтобы он отвез горничную туда и вернулся с доктором. Тем временем мы со священником перенесли Боттенлаубена наверх и положили его на кровать в комнате хозяина дома. Боттенлаубен все еще был без сознания, лицо его стало бледно-восковым. Мы сняли с него шинель и доломан. Мундир был весь в крови. Теперь рану стало видно. Пуля пробила почку сзади и вышла из живота слева. Рана сильно кровоточила.

— У вас есть бинт? — спросил я священника.

Он принес маленькую аптечку. Я положил два полотенца на раны и стал перевязывать графа льняной тканью, которую разорвал на полосы.

Тут Боттенлаубен пришел в себя. Он открыл глаза, но не мог пошевелить головой.

— Юнкер, — спросил он, — где мы?

Священник, который поддерживал его, сказал, что мы в его доме. Тем временем я закончил перевязку, и мы уложили графа.

— Как вы себя чувствуете? — испуганно спросил я. — Вам больно?

Некоторое время он просто лежал с закрытыми глазами, потом медленно произнес, что не чувствует боли. Какая рана?

Я ответил, что сквозная пулевая.

— Вот как? — отозвался он. — Вот же эти современные пули! Они пройдут тебя насквозь.

Он выглядел так, будто снова вот-вот потеряет сознание.

— Граф, — крикнул я, — держитесь! Скоро придет доктор!

Боттенлаубен ответил не сразу, он все еще лежал с закрытыми глазами, казалось, преодолевая слабость. Через несколько минут он снова открыл глаза.

— Юнкер, — пробормотал он. — Подойдите ближе. Я... я не могу говорить громко.

То, как он заговорил со мной, отозвалось уколом в моем сердце. Я наклонился к нему.

— Юнкер, — прошептал он, глядя на меня широко раскрытыми глазами, — в конце концов, это выход.

— Какой выход, граф Боттенлаубен? — пробормотал я.

— Не пугайся так, юнкер, — сказал он, и тень улыбки мелькнула у него на губах. — Это так мило с твоей стороны жалеть меня... Но столько людей уже погибло... Может быть, действительно нет больше смысла пытаться выжить любой ценой, почему бы и мне тоже не...

— Граф Боттенлаубен, — воскликнул я, — о чем вы говорите! Врач будет здесь через минуту, перевяжет вас, и вы...

— У тебя, — сказал он, — все будет по-другому. Ты еще очень молод. Ты вернешься... и, — тут он снова улыбнулся, — доставишь домой свой штандарт... Но я...

— Боже мой, граф Боттенлаубен, — сказал я, — держитесь! Не говорите таких вещей. Соберите силы, они вам понадобятся, пока повязка...

Я замолчал, потому что его лицо стало совершенно белым.

— Все в порядке, — прошептал он.

Несколько минут он лежал неподвижно, и мы со страхом смотрели на него. Наконец, уже не открывая глаз, он снова заговорил.

— Юнкер, — сказал он, — другие... у них все хорошо.

— У кого?

— У... других, — и добавил, — у армии.

— Какая армия, граф Боттенлаубен?

Он не ответил и начал хватать ртом воздух.

Я протянул ему руку, и он крепко сжал ее.

— Это очень сложно, — прошептал он.

У меня перехватило дыхание.

— Это ужасно сложно. Я...

С этими словами он опять потерял сознание. На лбу его выступил пот. Священник спросил меня, католик ли Боттенлаубен. Я не сразу понял, что он имеет в виду.

— Нет, — сказал я тогда, — я думаю, он лютеранин... наверное... я не знаю...

Вскоре появился доктор. Он посмотрел на Боттенлаубена и какое-то время не знал, что делать, нам пришлось приподнять раненого, доктор снял с него повязку, из раны все еще сочилась кровь. Она протекла сквозь полотенца и расплывалась на кровати. Врач наложил новый бинт. Чуть позже Боттенлаубен начал бредить. Я думаю, он говорил с Аншютцем.

Он умер около десяти вечера.

Я просидел с ним до полуночи, глядя на его лицо. Затем я встал, залез в левый карман его доломана,

которым он был укрыт, и вырвал офицерский медальон, вшитый в него.

— Господин священник, — сказал я, заглядывая в медальон, — этот умерший — граф Отто фон Боттенлаубен-и-Хеннеберг, ротмистр гусарской королевской саксонской гвардии. Похороните его. Деньги, какие найдете в его форме, потратьте на похороны, остальное отдайте бедным. Здесь написано, кому следует сообщить о кончине графа.

С этими словами я вручил ему медальон. И вышел из дома.

Наш кучер со своей бричкой все еще стоял перед крыльцом. Он сказал, что в нас попали минимум две пули и что одна лошадь ранена. Как вернуться, он не знает.

Я пожал плечами, дал ему денег и ушел.

Я дошел пешком до Дюрнкрута и там втиснулся в один из переполненных солдатских поездов, которые все еще продолжали ходить.

Мы прибыли в Вену около шести.

Но поезд остановился, не дойдя до вокзала. Дальше предстояло идти по рельсам. Антон ждал меня на вокзале. Он сразу же спросил, где Боттенлаубен. Я рассказал ему, что случилось, мы старались не смотреть друг на друга.

Наконец мы прошли через здание вокзала и вышли на улицу.

В небе уже полыхал рассвет.

Мы поехали на квартиру Кренневиля. Сам Кренневиль, сказал Антон, когда мы сели в машину, еще не вернулся. Квартира стояла запертой, ему, Антону, пришлось позвать привратника отпереть ее — после того, как он отвел Резу к ее родителям. Наша машина была старым французским авто. У нее были твердые колеса, и они ужасно гремели. Антон сказал, что родители Резы живут недалеко от посольств на Реннвеге. Отец Резы — председатель чего-то. По крайней мере, так к нему обращались слуги. По словам Антона, Ланги производили впечатление очень богатых. Он пришел к выводу, что Реза очень хороший человек. Что нам теперь делать? Армии больше нет. Войска, которые выступили против Италии, вернулись через Австрию — бросив обозы, лошадей, артиллерию и все имущество. Однако никого не грабили. Всякий сброд, конечно, грабит кое-где, на вокзалах и за городом. Но нигде не стреляют. Император в Шенбрунне. Есть национальное правительство, но есть по-прежнему нечего. В закусовых в девять вечера гаснет свет. Поэтому что нет угля. Реза сказала, что мне нужно навесить ее родителей. Он, Антон, о многом успел поговорить с Резой. Она ему очень нравится. Он ей обо мне рассказывал. Я должен пойти к ней.

Слушая его, я выглянул в окно. Улицы по-прежнему были пусты и выглядели заброшенными. Несколько человек околачивались по углам. Мы поднялись по лестнице в квартиру Кренневиля и открыли дверь. Пахло камфорой, окна были занавешены, а мебель накрыта простынями. Антон не успел ничего приготовить, всю ночь прождав меня на вокзале.

Я прошел по комнатам и сразу почувствовал себя совершенно одиноким. Казалось, что мне нужно немедленно уйти, я даже не мог решиться никуда сесть. Что мне здесь делать? Я был совсем один. Я не привык к одиночеству. Никто не приказывал мне приезжать сюда. С таким же успехом я мог бы остаться в другом месте. Не имело значения, где я остановился. Мной больше никто не интересовался. Меня просто отпустили. Я могу пойти куда угодно. Мне захотелось вернуться, но я не знал, куда мне идти. Полк, должно быть, где-то на востоке, в госпиталях, в плену, на реке, в земле. Там остались Чарторыйский, полковник, Брёле и Аншютц. Но я больше не был одним из них. Полк где-то еще существовал, но я не мог вспомнить, где он.

Я смотрел на висящие на стенах картины, изображавшие сражения — Новару, Кустощу, атаку Бехтольсхейма с его уланами. Я знал эти картины с детства. Люди в бело-темно-зеленой униформе дрались так, как будто это было в порядке вещей. Но что, если все было не в порядке? Они так легко дрались. Они не знали, что такое война.

Ковры везде были убраны. Мебель в квартире была простая. Кренневиль обладал хорошим вкусом, но не деньгами. Я стоял в своей грязной полевой

форме посреди этих комнат и чувствовал, что мне больше некуда возвращаться, что это уже не та квартира, где я жил в детстве. Все было чужим. Я вернулся вовсе не туда, откуда ушел.

Потому что не имело значения, что война закончилась, на самом деле она не закончилась, не эта война. Настоящие войны так не заканчиваются. Раньше солдаты возвращались домой — побежденными или нет, — ложились спать, вылечивали раны, выздоравливали. Но теперь победителей не было, не было даже тех, кто потерпел поражение, были только люди, которые вернулись домой, потому что посчитали, что война окончена. Но она продолжалась. Она продолжалась для всех, кто вернулся домой. Фактически они не вернулись. Они все еще были на фронте. Они принесли его с собой и носили с собой повсюду. Все вокруг могло оставаться таким, как прежде, но сами они больше такими не были. Они все еще несли в себе войну, не законченную, ее никак нельзя было закончить. Нельзя было просто убежать от нее. И дома они обнаружили, что война пришла с ними. Они стояли у себя дома и чувствовали, что им нужно немедленно уехать. Но было уже поздно. Теперь им придется разбираться с самими собой.

Я тоже был дома, но вдруг почувствовал, что должен вернуться туда, откуда пришел. Потому что я позволил себя обмануть, поверив, что можно вернуться. Никто, кто когда-либо уходит на войну, не возвращается. Я не смогу вернуться к тем, кого не обманули, кто увидел, что нет смысла возвращаться, и просто остался. Аншютц это понял и остался, и Боттенлаубен.

Он тоже остался. Только я вернулся. Я был последним. Я был один. У меня был штандарт. Я должен был вернуть его, но, может быть, это не я вернул его, может, он вернул меня. Теперь мне просто нужно было его отдать, и я мог быть свободен. И я не знал, куда мне идти.

Около часа дня я вышел из дома. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы снять форму, и после того, как я вымылся, я вновь надел ее. Потом я лег на кровать и проспал несколько часов, но после сна почувствовал себя еще более разбитым, чем утром. Когда я наконец встал, Антон спросил меня, поеду ли я к Резе, и я сказал: да, поеду. Но тут же снова забыл об этом.

Я отправился в казармы драгун в Брайтензее: казармы были пусты, дворы грязные, утром прошел дождь. Конюшни тоже были пусты. Несколько унтер-офицеров сидели в канцелярии, что они и делали, должно быть, всю войну. Я сказал им, что принес с собой штандарт и, прежде всего, если я говорю с ними, они должны встать. Они встали, весьма удивленные, и спросили: что за штандарт? Ну, штандарт, сказал я. Они, похоже, не поняли, о чем я говорю, и наконец кто-то спросил, что я хочу с ним делать. Хочу его передать, сказал я. Что ж, сказали они, тогда мне следует просто отдать штандарт им. Но я сказал, что хочу отдать его офицеру. Они ответили, что офицеров больше нет. Есть солдатские советы. Офицеры тут больше не появляются. Я пожал плечами, унтер-офицеры тоже пожали плечами, мы некоторое время смотрели друг на друга, потом я повернулся и ушел.

Я сходил в другие казармы — в казармы на Хоймаркт и в казармы Хох и Дойчмайстер. Но везде повторялось одно и то же. В пехотных казармах даже не знали, что такое штандарт. Каждый раз, когда я заходил в казарму, я чувствовал пот на лбу, боясь, что теперь кто-то действительно может забрать у меня штандарт. Но никто его не взял. Аншютц, Боттенлаубен и Хайстер пали ради этого знамени, но теперь никто не хотел его брать. Бесчисленное количество людей, вероятно, погибло, желая получить этот штандарт, но теперь не было никого, кому бы он был нужен.

В конце концов я узнал, что три или четыре тысячи офицеров собрались в Хофбурге, якобы чтобы защитить его от грабежей, а на самом деле потому, что они что-то планировали. На улицах тоже было много офицеров, но уже не с императорскими кокардами, а с красно-белыми, много было иностранных офицеров, которые были захвачены в плен, но теперь освобождены. Они гуляли по чужому городу так, будто приехали сюда на экскурсию. Одним словом, все они ходили по улицам, как ни в чем не бывало. Когда что-то происходит, люди нередко делают вид, что ничего не произошло. Говорили, что пролетариат буйствует. Но это было где-то в другом месте. Во всяком случае, здесь вы бы этого не заметили. Войну сознательно скрывали. Но ее невозможно спрятать. В какой-то миг она выпрямляется, как гадюка. И атакует своим ядом мир, и мир исчезает.

По дороге в Хофбург я решил, что ни при каких обстоятельствах не передам штандарт таким людям,

какие теперь, похоже, были повсюду, даже если они будут меня упрашивать. Мне очень не хотелось расставаться с ним. Когда я принял это решение, мне стало легче. Я понял, что единственная причина, по которой я был так ужасно подавлен, — это то, что я боялся лишиться штандарта. Но теперь я был настроен на то, чтобы сохранить его. Меня больше не волновало, что он никому не был нужен. Меня не волновало, что я смог сохранить его только потому, что у меня никто не требовал его отдать. Он принадлежал мне, мне и мертвым. Возможно, мне следовало отдать его мертвым, а не живым.

Огромные решетки Хофбурга были закрыты, перед ними стояли несколько офицеров с винтовками в руках. Еще несколько человек охранения прохаживались за решеткой, очень много людей было во дворах, и, как я увидел позже, сотни лежали повсюду — в залах и коридорах. Их действительно было несколько тысяч. Я поприветствовал офицеров, стоящих перед воротами, они козырнули мне с винтовками в руках, приветствовали меня легким поклоном с непривычной учтивостью. Я постоял некоторое время, глядя на тех, что были за решеткой. Меня пропустили.

Позднее часто говорили, что революцию можно было подавить, если бы в городе были один или два полка. Ну, таких полков в замке тогда было два. Оба они полностью состояли из офицеров: никогда прежде у императора не было такой гвардии — из одних дворян и офицеров. Однако они не предотвратили революцию, поскольку они уже утратили свою суть. Теперь их нельзя было сравнить даже с несколькими

батальонами солдат, какими они когда-то были. Они вернулись с войны. Но они не должны были вернуться. Они больше не были офицерами, они больше не были даже солдатами, они были никем. Революция тоже не была революцией. Она была тем, что нам осталось, когда все остальное было позади.

Старая армия была мертва, ее мертвые теперь были живыми, а живые были мертвыми. Три или четыре тысячи мертвецов застряли в Хофбурге. Встречались во дворах, совещались в коридорах. Обсуждали что-то в садовом зале, в охотничьем зале, в парадном зале, в Испанском манеже, в зале императрицы. Они говорили всю ночь до следующего дня. Я встретил пару друзей из полка Обеих Сицилий, мы переходили из комнаты в комнату и слушали генералов, которые вели с нами беседы. Непрерывный поток офицеров лился через распахнутые высокие двери, сигаретный дым окутывал комнаты, шелковые обои и золотые рамы батальных картин мерцали, как туман, громадные стеклянные люстры тихонько звенели, и все было в порядке. Отовсюду доносился непрерывный приглушенный гул, похожий на звук приboя. Слуги, которые все еще оставались во дворце, пытались подавать всем закуску, но еды было слишком мало. Около двух часов ночи мы растянулись на шелковых диванах, чтобы поспать несколько часов. Но когда мы проснулись, на следующее утро картина была прежней. Никогда раньше столько офицеров не были так заботливы к себе, и никогда раньше у меня не было ощущения, что люди собрались сделать невозможное. И не сделали.

Кроме того, ситуация стала накаляться, поскольку здесь было достаточно оружия и боеприпасов, а пролетариат в пригородах был возмущен этим. Офицеры даже подвезли две легкие артиллерийские батареи во внутренний двор. Но припасам для дворцовых столов, сладостям и токайскому вину пришел конец. Нужно было срочно выбираться из Хофбурга, хотя бы даже для пополнения запасов еды.

Наконец, несколько групп офицеров, в том числе и я, отправились за провиантом. Увы, кампания завершилась совершенно бездарно. Мы ничего не смогли найти в гастрономических магазинах на Кернтнерштрассе и Грабене, пустых как польские деревни. Мы не знали, куда идти, но все равно пошли... Когда я вместе с другими офицерами вышел из ворот замка, было три часа дня. Я отдал честь и отделился от группы. Небо было затянуто облаками, а уличный шум звучал как-то глухо. Воздух был плотным и мягким, совсем как в Париже или где-нибудь в Англии. Было довольно тепло. Я как будто возвращался из гостей, у которых отобедал. Все было кончено, и я пошел домой. Я прошел по галерее, которая соединяет площадь перед дворцом с Йозефсплац. Сразу за ним слева тянется большая стена без окон, та самая, где сегодня стоял капрал, слепой капрал Йоханн Лотт. Сейчас стену побелили, а тогда она была еще темно-серой.

На стене был наклеен плакат.

Белый, размером где-то сорок на шестьдесят сантиметров. Сверху его украшал имперский орел. Люди стояли перед ним и читали, затем шли дальше, подхо-

дили другие, останавливались и читали. Я тоже остановился и прочитал.

Это было воззвание императора. Последнего. Дословный текст я не помню. В основном, речь шла о формальностях. Император передавал власть национальному правительству, которое ее давно уже захватило, после чего следовал абзац, в котором было прямо сказано: во избежание кровопролития. И, наконец, там говорилось:

«Я освобождаю свои войска от их клятвы в верности».

Я до сих пор помню эту странную формулировку — «клятва в верности». Не присяга, а клятва в верности. Потом было еще одно предложение, ниже — подпись императора и вторая подпись — министра, и больше ничего, только в самом низу стояло: «Придворная государственная типография».

Какое-то время я стоял и смотрел на слова: «Придворная государственная типография». Потом пошел дальше. Я шел две или три минуты, затем произнес вслух:

— Я освобождаю свои войска от их клятвы в верности.

И тут в моих ушах зазвучал голос — один-единственный голос, и после того, как он закончил говорить, я вдруг понял, что это был мой собственный. Голос возглашал: «Клянусь перед Всемогущим Господом священной клятвой!» Голос продолжал, затем внезапно раздался второй и присоединился к первому. Я был потрясен, потому что в какой-то момент понял, что это голос Аншютца. А затем раздался третий голос,

и это был голос Боттенлаубена, к четвертому голосу присоединился пятый, шестой и седьмой. Я уже не мог отличить их друг от друга, но, думаю, это были голоса Брёле, Чарторийского и полковника. Потом еще дюжина голосов и, наконец, голоса целых эскадронов. Они говорили очень ясно, гораздо отчетливее, чем обычно, почти как колокола, медленно и торжественно, но затем слова сливались в глухой гул, похожий на эхо свода большой пещеры под крепостью Белграда. Теперь это звучало как громовые голоса многих полков, эхо нарастало, и в конце, могучая и необъятная, заговорила целая армия:

— Клянемся перед Всемогущим Господом священной клятвой не покидать своих частей, орудий, знамен и штандартов...

Я шел дальше, но не видел, куда иду, и не слышал шума улицы. Вокруг меня было только неизмеримое эхо голосов тех, кто дал клятву и скрепил ее своей кровью. Император, желая успокоить совесть тех, кто ее нарушил, не имел права отменять клятву, которую хранили павшие. Их армия была настоящей армией. Они поклялись, и мой голос был среди их голосов.

В любом случае, то, что планировали офицеры в Хофбурге, если вообще планировали, стало теперь бессмысленным. Совершенно бесполезным. Они больше не находились под присягой. Я медленно повернулся и пошел обратно, шаг за шагом, затем все быстрее, и наконец бегом, обратно в замок. Дисциплина среди офицеров у ворот начала сдавать — они больше не держали свои винтовки в руках, а опирались на них. Они

посмотрели на меня с таким удивлением, будто решили, что я несу какие-то катастрофические известия, например, о том, что толпа идет на замок или что-то в этом роде. Увидев их, я пришел в себя, подошел к генералам и доложил им о воззвании императора.

Однако генералы приняли эту новость гораздо спокойнее, чем я; они, видимо, сочли своим долгом отнестись к ней с официальным хладнокровием. Но я так громко докладывал и почти крича высказывал свое мнение, что новость тут же разошлась, и так же быстро стали видны последствия: офицеры, ждавшие несколько дней, лишились всей своей энергии, стали собирать вещи и покидать замок. Все приказы генералов были напрасны; наконец, чтобы убедиться в правильности моего доклада, они поручили мне и еще нескольким офицерам уточнить формулировку с плаката, а еще лучше — забрать плакат и принести его. Представьте себе мое недоумение, когда оказалось, что плаката на стене больше нет. Кто-то снял его с того места, где я только что его читал. Мы искали в городе другие экземпляры, но ничего не нашли, и, как я видел по выражениям их лиц, товарищи начали относиться ко мне, как к человеку, у которого галлюцинации.

Но я по-прежнему видел перед собой плакат, и я готов был поклясться в этом так же, как в том, что я сам приносил присягу. Вероятно, воззвание недолго провисело на стене, и другие его копии — тоже. Все они исчезли не только со стен, но и из архивов — с тщательностью, достойной эпохи Меттерниха, так что никто не смог найти ни одного экземпляра. Кто-то,

должно быть, убедил императора, что освобождение войск от присяги сделало бы невозможным для его династии когда-либо вернуть себе трон Австрии или Венгрии. И очень быстро все плакаты исчезли. Они провисели на стенах чуть больше получаса, максимум час. Потом они исчезли, исчезли, исчезли. Но я, и некоторые другие офицеры, и солдаты прочитали плакат. Уборщики постарались хорошо, так что никто не мог доказать, что этот плакат действительно существовал.

За исключением самого императора... Два года спустя он написал письмо фельдмаршалу Кевессу, которое я помню наизусть.

Я вспоминал его в часы глубочайшей депрессии. Звучало письмо так:

«Уважаемый фельдмаршал барон Кевесс!

Я с сожалением узнал, что некоторые офицеры сомневаются в том, действует ли еще присяга. Она все еще действует. Я не освобождал армию от нее. Офицерам и солдатам было разрешено присягать вновь образованным национальным государствам без нарушения прежней клятвы. Обращения к моему октябрьскому манифесту и к ноябрьскому манифесту 1918 года здесь неуместны.

Согласно октябрьскому манифесту, адресованному, подчеркиваю, только Австрии, новые национальные государства утвердились в результате конституционного процесса, то есть по воле их народов.

Мое воззвание от 11 ноября 1918 г. было написано под давлением обстоятельств — в свете

невозможности военного сопротивления революции. Такое сопротивление неизбежно привело бы к жертвам среди мирных граждан, но не помешало бы победе улицы. Оно недействительно, так как было порождено затруднительным положением. Позднее появились новые многочисленные факты, и обстоятельства складывались так, что следовало опровергнуть само существование этого воззвания. Для личного сведения я посылаю вам копию обращения, посланного Его Святейшеству Папе из Фельдкирха 24 марта 1919 года. Мой манифест для Венгрии от 13 ноября 1918 года устарел, поскольку в Венгрии восстановлена королевская власть. При том, что сам манифест никогда не подвергал сомнению личность главы государства.

Мое письмо должно храниться в строжайшей тайне, оно предназначено только для вас, уважаемый фельдмаршал барон Кевесс, чтобы вы могли использовать его как основу для разъяснений офицерам.

Вилла Прангинс, 29 июня 1920 г.»

Но, конечно, это было уже слишком поздно.

Когда я пришел домой и Антон открыл мне дверь, он тут же попытался вместо приветствия обвинить меня в том, что я оставил его в полной неизвестности. Реза, по его словам, спрашивала обо мне. Но чем дольше он говорил, тем сильнее выражение моего лицаставляло его умолкать. Он покачал головой, а я прошел в свою комнату.

Старик прибрался в доме. Кренневиль все еще не вернулся. Я лег в чем был на кровать и уставился в потолок.

Через некоторое время раздался звонок в дверь. Я слышал, как кто-то вошел в прихожую и минуту или две разговаривал с Антоном. Сразу после этого он впустил ко мне Резу.

Я лежал так еще мгновение, затем встал и пошел ей навстречу. На ней была бобровая шубка и маленькая шапочка. Мы посмотрели друг на друга. Я сказал:

— Боттенлаубен мертв.

— Я знаю, — сказала она, глядя в пол. — Антон сказал мне. Мне его очень жаль.

Некоторое время мы не смотрели друг на друга. Затем она взглянула на меня и спросила:

— Где ты был? Почему ты не пришел ко мне?

— Я должен был, — ответил я, — кое-что сделать. Но на самом деле мне здесь больше нечего делать. Я хочу завтра поехать на могилу Боттенлаубена.

Она промолчала, затем спросила:

— Разве ты не хочешь прийти к нам?

— Прости меня, — сказал я, вместо того, чтобы ответить на ее вопрос, — прости, что не предложил сразу, присаживайся.

Она коротко кивнула, но не села.

— Твои родители знают, — спросил я, — что ты здесь?

— Нет, — ответила она. — Но я думаю, они будут рады тебя видеть. Разве ты не хочешь сегодня выпить с нами чаю? Будет несколько человек, ты можешь с ними поговорить... и тебе не придется много разговаривать со мной. Я... я пришла только потому, что к нам приходил Антон и спрашивал о тебе. Я просто хотела узнать, вернулся ли ты. Иначе я бы вообще не пришла. Потому что ты так давно не давал мне на это права. Ты меня больше не целуешь... Я очень несчастна. Мне кажется, что ты больше не думаешь обо мне, и всякий раз, когда мы снова встречаемся, ты смотришь на меня как на незнакомого человека. Что я сделала, что ты меня больше не любишь? Почему ты сначала притворился, что любишь меня, а потом, когда я влюбилась в тебя, не хочешь ничего обо мне знать? Почему ты зашел так далеко, что смог делать со мной все, что хотел, а потом притворился, что больше меня не знаешь? Ты заставил меня тебя ждать, а сам не пришел! Чего ты добиваешься, мучая меня? Как ты мог внезапно забыть все, что говорил

мне о любви? Зачем ты все это делаешь, Боже мой, зачем? Я, — воскликнула она, — тоже хотела бы забыть тебя, но не могу! С моей стороны может быть совершенно неправильно говорить тебе это, я знаю, что тебе это безразлично, и теперь ты можешь даже ненавидеть меня, но я ничего не могу с собой поделывать, я люблю тебя!

Она кричала, как человек, который потерял власть над собой, потом она уронила руки, снова подняла, снова опустила. И не двигалась с места. Я смотрел на нее и сам не понимал, как я мог стать так равнодушен к этой ослепительно красивой девушке. Но теперь это было так. В следующее мгновение я забыл большую часть того, что происходило, я чувствовал, что меня здесь вообще нет, я все еще был где-то и продолжал разговор, начатый несколько дней назад с людьми, которых больше не было в живых. О Резе я понимал только, что она все еще очень далека от меня, что мне каждый вечер нужно скакать к ней, а ночью, на улице за Конаком ждут мои лошади, а потом ехать обратно — туда, где днем меня ждут Боттенлаубен и Аншютц. Что здесь делала Реза?

— Послушай, — наконец сказал я с усилием, — если ты рассказала обо мне своим родителям... то теперь они знают, что мы вернулись вместе, и Антон был у вас дважды... То есть мне крайне неудобно, если ты думаешь, что я был груб или что у меня есть причина скрываться. Я приду к вам. Вы будете, ты говоришь, пить чай? Иди домой, я последую за тобой. Прости, если ты чувствуешь, что я больше не тот, кем должен быть для тебя, но я не могу тебе всего объяснить

сейчас, я думаю, вообще не смогу объяснить, я, конечно, попытаюсь, но ты не поймешь...

— Я не хочу понимать! — воскликнула она. — Ты можешь объяснять мне это еще десять раз, еще сто раз, и я все равно не пойму. Я даже не хочу этого слышать! В конце концов, я всего лишь женщина. Об этом ты все время забывал...

Она так изменилась, что я посмотрел на нее с тревогой. В ее глазах горело негодование. На самом деле потребовалась эта вспышка, чтобы заставить меня понять, что у нас с ней много общего.

— Так что же ты хочешь, — наконец спросил я, глядя в пол, — чтобы я сказал? Я не могу сказать ничего больше.

— Я хочу услышать от тебя, — воскликнула она, — что мне нужно уйти и больше не приходить к тебе. Потому что тогда я больше не приду!

— Я не хочу тебя терять, — пробормотал я. — Дай мне время!

— Время? Зачем?

— Не знаю... Но я чувствую, что нахожусь в таком состоянии, что не могу ответить на вопрос даже самому себе... Я чего-то жду... но не знаю, чего именно. Ничего не кончено...

— Отнюдь! Все кончено. Что может такого случиться, чтобы ты вернулся ко мне?!

— Я ничего не могу сделать, — сказал я, — кроме как снова попросить тебя проявить немного терпения... Прости меня, если я тебя обидел, хорошо? Если ты думаешь, что я что-то пропустил, возможно, что я

все пропустил... и боюсь, что никогда не смогу это исправить... но я ничего не могу с собой поделать...

Я замолчал, а она смотрела на меня с болью в глазах. Я ожидал, что она скажет что-нибудь еще. Она шевелила губами, но ничего не смогла произнести.

— Реза... — сказал я и хотел подойти к ней, но она покачала головой.

— Определенно нет оправдания тому, — сказал я, — что я не видел тебя с тех пор, как вернулся...

Она сказала, но это больше было похоже на чтение по губам:

— Тебе не нужно больше приходить, если ты не хочешь.

— Конечно, хочу, — сказал я.

Она молчала.

— Правда? — наконец спросила она.

— Конечно, — ответил я и с этими словами притянул ее к себе и поцеловал, и на мгновение ощутил биение ее сердца своей грудью — там, где я прятал штандарт.

У Лангов в гостях почти не было офицеров. Были промышленники, несколько банкиров, но в основном женщины, многие из них симпатичные, некоторые даже очень симпатичные. Мне почему-то казалось, что родители Резы меня разочаруют. Но они прекрасно выглядели, особенно мать, которая, как говорили, была из очень хорошей семьи. Отец Резы был человеком великодушным и космополитичным, и мне не потребовалось много времени, чтобы понять,

что он чужой в этом обществе. Я проговорил с родителями Резы несколько минут. Сначала они, казалось, хотели проигнорировать тот факт, что я и Реза вернулись вместе, — вероятно, потому, что с нами были и другие люди, они просто сказали, что им особенно приятно, что их дочь была с эрцгерцогиней. Позже Ланг отвел меня в сторону и поблагодарил за то, что я вернул им дочь. Затем он сделал паузу, возможно, ожидая какого-нибудь объяснения. Однако, во избежание недоразумений, я сразу сказал, что для нас, для меня самого и других, это возвращение с войны было очень болезненным. Я был из семьи, в которой сыновья, становясь офицерами, получали седло и сто гульденов, и это было все; и теперь у меня ощущение, что я утратил все и мне больше нечего терять. Он смотрел на меня несколько секунд, затем сказал, что я еще очень молод и не стоит делать ошибку, что конец миру еще не наступил, что мир как раз начинается. Если он может быть чем-нибудь полезен, я могу рассчитывать на него; и я ответил, что он очень добр. Потом я немного поговорил с Резой, но почти не слушал ее и смотрел на людей довольно рассеянно. Казалось, что депрессию войны здесь не замечают. Это был совершенно другой мир. Не тот, который был прерван с началом войны, это был новый, совершенно новый мир. Гости пришли в вечерних платьях, и вечер, казалось, будет долгим. Я увидел платья, которые, должно быть, прибыли из Парижа, платье из золотой парчи с алмазными зажимами на плечах, платья из расписного шелка и перчатки, вышитые бисером. Подавали виски, голландские ликеры и французское шампан-

ское. Наконец я заметил, что некоторые из гостей поглядывают на меня. Сначала я списал это на свою военную форму, а потом сказал себе, что они, вероятно, заинтересовались Резой, потому что мы с ней разговаривали. Я кивнул ей, поговорил с другими гостями, но ни с кем не обсуждал то, что происходило вокруг, казалось, мы здесь в другом мире: люди говорили о литературе, путешествиях, о делах. Наконец, присев на диванчик, я некоторое время общался с очень красивой девушкой, позже назвавшейся Валери Кауфманн, мы сидели в маленькой гостиной, где играли и танцевали под «Salome» и бостонскую «Destinée», бывшую еще в моде. Девушка рядом со мной сказала несколько слов о том, какая Реза очаровательная, потом она говорила о других вещах, но, наконец, вернулась к Резе и упомянула, что они подруги, но теперь почти не видятся.

В этот момент я вновь услышал голоса. Снова заговорили голоса павших, сначала несколько, потом многие, бесчисленные. Они говорили медленно и торжественно, и разговоры рядом со мной и вокруг меня опять зазвучали как рев и гул под огромными сводами. Голоса произносили клятву. Они говорили: «Клянемся перед Всемогущим Господом» и далее — всю клятву, от которой их освободил император. Но они не отказывались от клятвы. Они были армией и были верны своему слову.

Они присягали не императору, они присягали себе. Штандарты, которым они присягнули, принадлежали императору, но император лишил их святости. Они вернулись к императору. А мертвым досталась слава.

Штандарт, который я носил под мундиром, — штандарт мертвых, следовало вернуть императору: они возвращали его.

Я взглянул на собеседницу, затем встал и пробормотал несколько слов. Девушка посмотрела на меня с удивлением, я поклонился и вышел из гостиной. Я прошелся по комнатам, потом спустился в переднюю и попросил свою шинель. Когда я надевал фуражку и перчатки, рядом со мной вдруг оказалась Реза.

— Ты хочешь уйти? — спросила она, положив руку мне на плечо.

— Да, — пробормотал я.

— Куда ты идешь?

— Нужно закончить дело.

Она посмотрела на меня.

— Разве ты не хочешь сказать мне, — спросила она, — куда идешь?

— Я должен, — сказал я, глядя мимо нее, — вернуть то, что у меня есть.

— Что у тебя есть?

— Да.

— Штандарт?

Я коротко взглянул на нее, затем сказал:

— Да. Штандарт.

— Кому ты собираешься его отдать?

Я хотел что-то сказать, но не смог выговорить. Она спросила:

— Ты хотя бы позволишь мне пойти с тобой?

— Со мной?

— Да.

Я мог бы спросить, зачем ей это, что на самом деле она хочет знать. Она спросила, куда я иду. Я ответил. Но в общем, я был не против, чтобы она пошла со мной. Может быть, я не хотел идти один.

— Ну? — спросила она. — Ты позволишь мне пойти с тобой?

Секунду я колебался, потом сказал:

— Да. Пойдем.

Она взяла шубку и надела ее. Мы вышли из дома. Было около половины седьмого вечера.

На улице ждала пара взятых напрокат машин, видимо, для гостей. Я подошел к одному из шоферов, наклонился и тихо сказал, куда нас нужно отвезти.

Он с удивлением посмотрел на меня, и мы сели в машину.

Машина была такой же плохой, как и все остальные в те времена, она жутко громыхла на плохом асфальте. Шел дождь, и в тусклом свете фар дома отражались в воде. Мы ехали около получаса, сперва по предместьям, затем по длинным, плохо освещенным улицам, по которым, как тени, брели редкие прохожие. Наконец, мы свернули в аллею, засыпанную опавшими листьями, и остановились перед воротами с большими распахнутыми решетками.

Это был Шенбрунн.

Мы вышли из машины и попросили водителя ждать. В воротах стояли двое гвардейцев. Винтовки у них висели на шее, руки были в карманах, они курили. Они не пытались нас остановить, и мы зашагали через большой двор к дворцу. Мокрый штормовой ветер

гнал облака. Дворец был ярко освещен. Свет лился из всех окон. На подъездной дорожке стояло несколько темно-зеленых машин с работающими двигателями. Вокруг переминались стража и лакеи.

— Останься здесь и подожди меня, — сказал я Резе.

Затем я вошел внутрь. Здесь меня тоже никто не остановил. Я миновал весь коридор на первом этаже, затем две стеклянные двери. Несколько человек прошли мимо, как будто не заметив меня. Я поднялся по большой лестнице и вошел в антикамеру сада, там никого не было, я открыл двери в следующие два зала, это были залы для аудиенций, везде горел свет, но тоже никого не было. Я вернулся во двор, все было тихо, но слева до меня донеслось что-то вроде многоголосого бормотания. Сначала я решил, что мне вновь слышатся голоса, но потом понял, что на сей раз голоса настоящие. Я открыл дверь слева, вошел в огромный бело-золотой зал, но никого не увидел. Тем временем голоса стали громче, и звучали они, очевидно, откуда-то по соседству.

Я пересек зал, разделенный на два пространства рядом колонн, стены второго зала были обтянуты бордовым шелком, и повернул направо, на звук голосов. Это действительно было множество голосов, они приглушенно переговаривались друг с другом, они звучали повсюду, как если бы говорившие люди стояли сразу во многих местах. Теперь было ясно, что они доносятся из вестибюля, ведущего к трону. Я шел через бело-золотой зал и багрово-красный зал с шелковыми стенами, три или четыре пуговицы у меня на груди были расстегнуты, рука лежала на штандарте. Я был

полон решимости пройти мимо всех этих людей, собравшихся в вестибюле, и не позволить, чтобы меня задержали придворные, стража или адъютанты, никто больше не вправе был отдавать мне приказы, император забрал у нас присягу, и я мог делать что хочу и идти куда хочу. Я собирался подойти к императору и сказать:

— Штандарт полка Марии-Изабеллы! Ваши мертвые возвращают Вам штандарт!

Мои шаги по паркету эхом отдавались в зале, а разговор многих людей рокотал по соседству. Вдруг он смолк, и наступила почти полная тишина. Я вступил в вестибюль и увидел длинную, двойную вереницу придворных, чиновников, офицеров, слуг. Она тянулась через анфиладу богато украшенных комнат, все двери которых были открыты. Огромные стеклянные люстры ослепительно сверкали.

Люди стояли молча и неподвижно. Когда я вошел и мои шаги отозвались эхом, никто не повернулся ко мне, все они смотрели в другую сторону. Я остановился, затем шагнул к ним. Присутствующие по-прежнему не замечали меня, они смотрели вперед, и на их лицах застыло удивление. Все молчали.

— Что здесь происходит? — спросил я господина в расшитом золотом парадном мундире и в пенсне, со шляпой под мышкой.

Он взглянул на меня, но ничего не ответил и отошел. Меня это удивило. Рядом со мной стоял старый слуга в шикарной ливрее, чем-то походивший на Антона. Вид у него был подавленный. Я наклонился к нему.

— Что здесь происходит? — тихо спросил я.

Он ответил не сразу.

— Их Величества, — наконец отозвался он, не поднимая головы, — покидают нас.

Я не сразу осознал смысл его слов, но тут все присутствующие пришли в движение. Справа послышались шаги: показались император и императрица, за ними несколько придворных. Люди кланялись. Императрица шла с достоинством, император натянул фуражку почти на глаза, он почти ни на кого не смотрел, только то и дело благодарил и кивал. Процессия быстро миновала меня и скрылась в большом зале слева. Собравшиеся снова выпрямились, но на месте оставались уже недолго. Снизу было слышно, как машины, вероятно, те самые, что я видел у подъезда, уезжают.

Люди расходились. Я стоял неподвижно — минуту или две. Затем выпрямился и пошел вперед. Я не последовал за теми, кто уходил, я продолжал идти в том же направлении, что и шел, как будто император все еще был там, а я шел к нему, чтобы вернуть штандарт. Он ушел, а я все равно шел к нему. Я прошел через желтый зал с огромными батальными картинами на стенах, затем через синий с изображениями пеших и конных полков на параде и через кабинет, в котором на небольших постаментах у стен стояли китайские фарфоровые вазы.

Наконец я оказался в зале, где в камине горел огонь. Несколько унтер-офицеров несли к огню флаги и знамена. Я смотрел на них секунду-другую, затем спросил, что они делают.

— Мы сжигаем флаги, — ответили они, — чтобы они не попали в руки врага.

Шелковые полотнища, которые они несли к камину, словно ветви волочились по полу и шуршали как сухие листья. Длинные ленты и хрупкий, древний окровавленный шелк хрустел и шелестел. Они жгли знамена всей армии: ломали расписанные и узорные древки об колено и бросали парчу, дерево, шелк и остатки венков в огонь. Пламя высоко взмывало в ответ. И пожирало всё.

Знамена, вокруг которых веками падали полки, орлов, олицетворявших честь империи. Полыхали знамена павших, трескали ломающиеся древки, все новые шелка летели в огонь. Император приказал сжечь флаги, которые вернули ему мертвые. Я вынул штандарт, который носил у сердца, и тоже бросил его в огонь.

В следующий миг мне захотелось выхватить его назад, как тогда, на мосту, Хайстер спасал штандарт от пуль, но было поздно. Пламя уже охватило его.

Знамена были сожжены, штандарты догорали, я, не отрываясь, смотрел на огонь, пламя вспыхнуло еще раз, и штандарты превратились в тлеющие кровавые угли. В самый последний момент показалось, что они вот-вот воспрянут. Как вспыхнувшее пламя, они вновь восстанут из углей. Я смотрел в огонь и видел, как сгорает лес знамен и штандартов и как он снова поднимается, воскрешенный ревущим пламенем. Но это были уже не старые штандарты из бархата, шелка и парчи, а новые! Это был молодой лес, взметнувшийся над людьми. Но огонь снова угас, видение исчезло, лишь небольшие огоньки еще мерцали кое-где в черной пещере камина, но вскоре погасли и они, оставив после себя лишь серый пепел.

Я вдруг осознал, что стою один перед этим пеплом, унтер-офицеры давно покинули зал. Сожжение завершилось; я развернулся и пошел прочь. Я снова прошел через зал, в котором стоял китайский фарфор, через синий зал, где висели картины парадных полков, через желтый зал с батальными сценами, через багрово-красный зал и через большой бело-золотой. Я спустился по лестнице и сквозь стеклянные двери увидел Резу.

Когда я увидел ее, я на мгновение остановился, а затем медленно пошел к ней. Она стояла и смотрела на меня. Она как будто ждала меня всегда, как будто знала, что я приду, когда все будет позади, и что она должна быть здесь, потому что у меня не останется ничего, кроме нее.

Я остановился перед ней и неуверенным движением обнял ее. Затем тихо попросил:

— Не оставляй меня одного.

Она положила голову мне на плечо, я поцеловал ее волосы и больше не отпускал. Мы стояли так долго.

Потом пошли обратно к машине.

БОГИ ВОЙНЫ

АЛЕКСАНДРА ЛЕРНЕТА-ХОЛЕНИЯ

Первая мировая война как для немецкой, так и для австрийской культуры стала тектоническим потрясением. Не меньшим потрясением оказалась она и для будущего писателя и драматурга Александра Лернета-Холения (1897–1976). Александр происходил из аристократической семьи военных: отец писателя, Александр Лернет, был лейтенантом линейного корабля, дед, Норберт Лернет, — прапорщиком Ауэршпергского кирасирского полка. Для Лернета-Холения память о предках и своем происхождении всегда имели основополагающее значение, о чем свидетельствуют сюжеты его прозаических произведений. Исследователи творчества писателя отмечали множество совпадений семейной истории автора с биографиями главных и второстепенных персонажей. Герой романа «Штандарт», Герберт Менис, оставшись сиротой, воспитывается двоюродным дедом, кавалерийским генералом. Отец Герберта — тоже военный, и тоже служил на флоте. И герой продолжает семейную традицию, в шестнадцать лет оказываясь на фронтах Первой мировой войны. Выбор жизненного пути Герберта во многом задан происхождением, как и путь самого

Лернета-Холения. Вторым определяющим фактором стала разразившаяся мировая война. Много лет спустя писатель вспоминал, как летом 1914 года увидел в витрине книжного магазина газету с заголовком «Мировой пожар» и как пытался осознать эти слова.

Александр окончил гимназию с так называемым «военным аттестатом» (*Kriegsmatura*) и поступил на юридические курсы Венского университета. Но к учебе он так и не приступил, поскольку в сентябре 1915 г. ушел добровольцем на фронт и был зачислен в драгунский полк эрцгерцога Альбрехта. В 1916 г. Лернет-Холения получил звание прапорщика, в 1917-м — лейтенанта, воевал подо Львовом и Луцком на территории современной Украины. Окончание войны застало его в Венгрии. Как и герой романа «Штандарт», он был серьезно ранен, а когда в 1918 г. вернулся в Вену, это была столица уже другого государства. Молодой офицер оказался в совершенно иной реальности, в которой, в частности, необходимо было переосмыслить и собственную национальную идентичность. В 1920-е годы отставной лейтенант посвятил себя литературе. Сначала это была лирика, созданная под влиянием Райнера Марии Рильке и Гуго фон Гофманстала. Затем Лернет-Холения обратился к драматургии, в чем ему сопутствовал успех — в 1926 г. за комедию «Ольяпотрида» (*Ollapotrida*) он получил престижную премию Генриха Клейста.

Литература в Германии и Австрии отреагировала на итоги Первой мировой по-разному:

в немецкой литературе переживание ее отразилось первоначально в лирике и драме, а в австрийской — в романе, единственном жанре, в котором возможно адекватно отобразить реальность. Ведь если поражение Германии не привело к ее распаду, то Австрия после войны превратилась в провинциальную, всеми забытую страну.

Поиск причин, приведших Австро-Венгерскую империю к гибели, оказался едва ли не главной темой литературы и философии новой, немецкой Австрии, выстроивших «габсбургский миф» — явление, характерное только для австрийской культуры. Этот феномен представлял собой обособившуюся идеологию, возникшую не под влиянием реальности, а из стремления эту реальность изменить, а зачастую и приукрасить. «Габсбургский миф», воспевавший императора и идиллический патриархальный строй, начал складываться еще в литературе XIX века. После Первой мировой войны ностальгия по прошлому настойчиво населяла литературу традиционными фигурами бюргеров, элегантных офицеров и т. п. Влияния этой ностальгии не избежал и Лернет-Холениа, создавший в своих произведениях ряд ярких образов героев благородного происхождения, прекрасных дам и верных слуг.

В 1930-е годы, когда в Германии уже строился новый рейх с новой идеологией, стремившийся захватить Австрию в свою орбиту, Лернет-Холениа, вероятно, почувствовал необходимость выразить свой военный опыт и свои переживания в крупной прозаической форме. Так появилось несколько

больших произведений, сквозными темами которых стали падение империи, война и размышления о судьбе нации. Это новелла «Барон Багге»¹ (1936), романы «Штандарт» (1934), «Красный сон» (1938) и «Марс в созвездии Овна» (1940–1941)².

В центре всех этих произведений — обстоятельства гибели старого мира. В романе «Штандарт» — это распад Австро-Венгрии и утрата общих культурных ориентиров; в «Бароне Багге», истории о сновидении, — потеря человеком смысла жизни, стремление вернуться в сон, в иллюзию счастья; в «Красном сне», посвященном русской Революции и Гражданской войне — ожидание конца света, пришествия антихриста, восприятие истории как цепочки роковых предначертаний; в «Марсе в созвездии Овна», повествующем о польской кампании 1939 года, — столкновение с необратимым ходом истории и ее мистическими совпадениями, ощущение пугающего одиночества и бессилия в противостоянии с реальностью, то и дело порождающей двойников.

История и исторические факты, неизменно являясь основой произведений писателя, использовались им не в привычном для романа ключе. Автор стремится передать не «дух эпохи», а глубоко личное переживание ее. Размышления об общих закономерностях истории занимали Лернета-Холения

¹ Лернет-Холения А. Барон Багге. Перевод В. Летучего. СПб., 2002.

² Лернет-Холения А. Марс в созвездии Овна. Перевод С. Балаевой. СПб., 2017.

еще в середине 1920-х, после прочтения «Заката Европы» Освальда Шпенглера. Картина грядущего конца западной культуры оказалась созвучной его собственному видению пожара Первой мировой. И в финале романа «Штандарт» сожжение знамен Австро-Венгерской империи становится метафорой уничтожения старого мира.

В произведениях Лернета-Холениа много отсылок к известным мифам, апокалиптическим легендам и литературным памятникам, не столько австрийским, сколько общеевропейским. Иногда его повествование прозрачно намекает, что в ход истории человечества вмешиваются высшие силы. В «Марсе в созвездии Овна» само название указывает на астрологическую констелляцию планет, предвещающую войну. В «Штандарте» все даже проще: здесь на сцену заглядывает ни много ни мало сам бог войны. Первая мировая, о последних днях которой идет речь, минула более десяти лет назад, и главный герой подробно и эмоционально рассказывает о них собеседнику. Памяти героя можно позавидовать: он сумел запомнить и воспроизвести не только мельчайшие подробности пережитых событий, но и стихи, напоминающие «Старшую Эдду», а именно «Речи Гримнира» (Гримнир — одно из имен бога войны Одина), в которых тот перечисляет свои 54 имени.

Звался я Грим,
звался я Ганглери,
Херьян и Хьяльмбери,
Текк и Триди,

Тунд и Уд,
Хар и Хельблинди...¹

Стихи, которые герои находят у убитого товарища, заставляют их вспомнить о таинственном ротмистре Хакенберге. В романе он появляется неожиданно, зловеще, в сопровождении двух серых лохматых собак, в которых легко угадываются волки Одина Гери и Фреки. Ротмистр загадывает замысловатые загадки, предсказывает будущее и многозначительно исчезает перед главным побоищем — словно бог Один, готовый принять кровавое жертвоприношение. К слову, фамилия Хакенберг (Hackenberg) созвучна со словом «хакенкройц» (Hakenkreuz) — так Гитлер называл свастику, ставшую «арийским» символом.

Древние боги были очень популярны в Германии 1930-х — во многом благодаря моде на Вагнера и его оперный цикл «Кольцо нибелунга», одним из главных героев которого является верховный бог Вотан (Один). В своем романе Лернет-Холения не делает сходство Хакенберга с верховным богом скандинавского пантеона очевидным. Да и побоище на мосту никак нельзя назвать героическим. Это именно мятеж, отражающий настроения в австро-венгерской армии и в многонациональном обществе империи в целом. Мятеж в 1918 году, вероятно, был неизбежен — слишком уж разными были населяющие империю народы.

¹ Речи Гримнира // Старшая Эдда. Перевод А. Корсуна. СПб., 2000. С. 92.

В «Штандарте» Лернет-Холениа наглядно показывает, как и из чего складывался миф о единстве империи, о единстве армии, о непобедимости австрийского оружия. Штандарт — материальное воплощение этого мифа. И история, рассказанная в романе, на примере штандарта показывает постепенное разрушение веры в него. На мосту через Дунай погибает империя, рушится многонациональное единство, созданное более века назад. И хотя хроники Первой мировой войны ничего не говорят о столкновении полков на мосту у Белграда, оно становится наглядной литературной точкой в истории австро-венгерской монархии: ведь с этого же места в 1717 г. принц Евгений Савойский начал осаду города во время Шестой австро-турецкой войны. Тогда же в народе сложилась песня о принце Евгении, описывающая осаду и взятие турецкого тогда Белграда австрийскими войсками. В балладной форме, в девяти строфах, песня рассказывает о битве, произошедшей на Дунае, и об особой роли в ней понтонного моста через реку.

Prinz Eugen der edle Ritter,
wollt dem Kaiser wied'rum kriegen
Stadt und Festung Belgerad!
Er ließ schlagen eine Brücken,
daß man kunt hinüber rücken
mit der Armee vor die Stadt.
Als die Brücken nun war geschlagen,
Daß man kunt mit Stuck und Wagen
Frei passir'n den Donaufluß, <...> ¹

¹ Deutsche Volkslieder mit ihren Original-Weisen. Erster Theil. Berlin, 1840. S. 120.

Принц Евгений, благородный рыцарь,
Хотел вернуть императору
Город и крепость Белград!
Он повелел построить мост,
Чтобы можно было по нему пройти
С армией в город.
Когда мост был построен,
То пешему и конному можно было
Свободно перейти через Дунай <...>

Печальная ирония состоит в том, что Герберт Менис в обратном направлении повторяет путь принца Евгения, только в бою на дунайском мосту ему приходится биться со своими соотечественниками. Белград для него (и для империи) потерян навсегда, мосты рассыпаются, а штандарт погибшего полка сгорает в огне камина венского императорского дворца Шенбрунн.

Герберту Менису в 1918 году всего девятнадцать лет, он еще верит в любовь и долг, в империю и императора. Роман «Штандарт» — история о юноше, мировосприятие которого основывается на школьных знаниях и приключенческих романах. Поэтому и рассказ его подобен приключенческому роману: он спасает возлюбленную, с ним рядом верный друг и впереди у него важная цель — спасение символа империи. По ходу событий Герберт теряет своих друзей, обретает любовь и достигает цели, возвращая штандарт в императорский дворец. Но не обретает покоя, потому что в новом мире для него нет места.

Боги войны не отпускают героя и не отпускают писателя, который двадцать лет спустя воз-

вращается на войну, посвящая этому опыту свой новый роман «Марс в созвездии Овна», где в тени приключенческого повествования скрыты отсылки к библейскому Откровению и аллюзии на Аваддона, демона войны и «ангела бездны». Эти аллюзии привели к тому, что роман был запрещен министерством пропаганды гитлеровского рейха. Та же участь постигла и «Штандарт», слишком пессимистично показывавший жизнь солдата после войны.

Но до и после нацистского десятилетия роман имел большой успех у читателей, его дважды экранизировали — в 1935 и 1977 годах. Александр Лернет-Холения при жизни достиг огромной популярности как прозаик, драматург, сценарист и поэт, он стал лауреатом Большой государственной премии в области литературы и был избран президентом австрийского ПЕН-клуба. Памятная доска с перечнем его заслуг висит на стене Михайловского крыла венского дворца Хофбург, в котором писатель жил с 1952 года. Такой чести он удостоился, вероятно, потому, что сумел как никто другой создать образ австрийского офицера, не утратившего чести и достоинства в эпоху исторических катаклизмов.

Публикация «Штандарта» в 1934 г. совпала по времени с попыткой прогерманских сил сместить австрийское правительство Энгельберта Дольфуса. Но правительство устояло, хотя сам канцлер был убит. Этот неудавшийся переворот всколыхнул национальное самосознание австрийцев. Машина государственной идеологии развернулась и начала восстанавливать старые традиции. Были возвра-

щены прежний герб — двуглавый орел — и военная форма габсбургской армии. Вновь была провозглашена государственная идея — стать «мостом» между нациями. Та же идея была основой идеологии Австро-Венгерской империи до Первой мировой войны.

Но теперь колеса истории повернулись иначе. Пожар мировой войны разгорелся вновь, в 1938-м Австрия была присоединена к германскому рейху, и боги войны покинули ее лишь в 1945 году. Только после окончания Второй мировой войны страна, наконец, стала самостоятельной. Началась история новой Австрии.

С. Балаева

СОДЕРЖАНИЕ

А. Лернет-Холениа

ШТАНДАРТ

Роман

5

С. Балаева

БОГИ ВОЙНЫ

АЛЕКСАНДРА ЛЕРНЕТА-ХОЛЕНИЯ

304

Лернет-Холенна, Александр

Л 49 Штандарт. Роман / Пер. с нем. и послесловие С. Балаевой. / СПб.: Издательство «Симпозиум», 2022. — 318 с.

ISBN 978-5-89091-575-7

Ноябрь 1918 года, идет последняя неделя Первой мировой войны и существования Австро-Венгерской империи. Всего за несколько суток от знаменитого драгунского полка остается горстка офицеров, с риском пробирающихся из Белграда домой, в Австрию. 19-летний прапорщик, помимо собственной жизни, должен спасти штандарт своего полка и девушку, встреченную три дня назад и поразившую его сильнее, чем все войска противника вместе взятые. Но тяжелее всего, добравшись до родной Вены, оказывается найти себя в послевоенной жизни, в новой стране и в новом мире.

Александр Лернет-Холениа (1897–1976) — выдающийся австрийский писатель и драматург, участник описываемых в романе событий, лауреат премии Генриха Клейста (1926) и Большой государственной премии (1961), президент австрийского ПЕН-клуба. Роман «Штандарт» (1934), как и остальные книги писателя, был запрещен в Третьем Рейхе, но пользовался большим успехом до и после нацистского десятилетия.

Возрастное ограничение 14+

Александр Лернет-Холениа

ШТАНДАРТ

Роман

Перевод с немецкого

Светланы Балаевой

Редактор Александр Кононов

Художник Владимир Егоров

Верстка Светланы Широкой

Корректор Лидия Веппе

Издательство «Симпозиум»

193312, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, 33 кор. 1, лит. А, 74.

Тел. +7 (812) 312-14-40, факс +7 (812) 580-82-17.

e-mail: symposium@yandex.ru

www.symposium.ru

Подписано в печать 27.07.2022. Формат 76×100/32.

Усл. печ. л. 16,38. Тираж без объявл. Заказ № 5195

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в АО «Первая Образцовая типография»

Филиал «Чеховский Печатный Двор»

142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1

Тел. +7 (495) 988-63-87, факс +7 (496) 726-54-10.

e-mail: marketing@chpk.ru

www.chpk.ru

Александр Лернет-Холениа

Маре в созвездии Юбиа

Роман

15 августа 1939 г. австрийского аристократа графа Вальмодена призвали на военные сборы. Именно в эти дни его настигает большая любовь, из-за чего армейский распорядок и необходимость целый месяц жить в гарнизонном городке превращаются в серьезное неудобство. Граф обещает возлюбленной вернуться в Вену 16 сентября — в первый же день после окончания службы, однако начавшаяся мировая война и отправка его части в поход на Польшу смешивают все планы. Но даже гибель Вальмодена от случайной бомбы не становится для него достаточным препятствием, чтобы не встретиться с любимой точно в назначенный час.

Перевод с немецкого Светланы Балаевой

Тв. переплет, формат 76×100/32. 224 стр.

ISBN 978-5-89091-509-2

2018 г.

